

Часть I

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Глава 1

Дома и в гимназии /1874–1893 г./

Родился я в Киеве 4 марта 1874 года. Этот город, начиная с самого его древнерусского названия, всю жизнь был для меня самым любимым и красивым городом в мире. Точно также на всю жизнь сохранил я пристрастие к сосне, березе, пескам, болоту, груздям и рыжикам, дикой малине у лесных колодезев, т. к. такова скромная, но для меня родная природа Радомысльского уезда, Киевской губ., в котором находилось имение моей матери Гладышево, верстах в двадцати от городка Чернобыля на р. Припяти, в этом имении прошли лучшие годы моего детства. На всю жизнь осталась у меня и любовь к степям Бессарабии, тоже потому, что в уездном городе Бендерах, где служил в акцизе мой отец, я провел несколько счастливых лет детства.

Главным источником моего детского счастья была моя бабушка Надежда Ивановна Волжина, с которой я в детстве почти не разлучался, а затем всю жизнь был в самых близких дружеских отношениях. Своими основными достоинствами и недостатками я главным образом обязан ей. Это была женщина, воспитанная еще в обстановке крепостного права, некогда с большими средствами, властная, очень много, но без всякого разбора и системы читавшая, представлявшая из себя как бы живой энциклопедический словарь; она не была счастлива в браке, несмотря на высокую образованность ее мужа; долго была духовно одинока и всю силу любви, весь смысл жизни вложила в меня, как старшего ее внука; она очень любила и брата моего и сестру, но все-таки обстоятельства так сложились, что я был к ней всегда сравнительно ближе других. Я чувствовал с первых сознательных дней моей жизни так сильно эту любовь, так воспринимал ее, как нечто необходимое для моей жизни, что казалось иначе и не мог бы жить. Когда мне было года три, я помню ходил за бабушкой по пятам, даже стоял часто возле уборной в ожидании ее выхода. Наказываем ею я никогда не был; я ясно инстинктивно сознавал силу моего значения для нее, сознавал, что я ее «любимец», но когда я злоупотреблял таким моим положением и огорчал ее чем-нибудь, высшим наказанием для меня, вероятно гораздо более сильным, чем какая-нибудь порка, практиковавшаяся в некоторых семьях, было строгое выражение недовольства на лице бабушки, а в особенности признаки слез на ее глазах.

Я не педагог, но чувствую по себе, что любовь — одно из лучших действительных средств воспитания. Первое вполне сознательное чувство, которое проснулось во мне в раннем детстве под влиянием взаимной любви к бабушке — это какое-то особое преклонение перед старостью; я рассуждал чисто эгоистически так, встречаясь с чужими бабушкой или дедушкой: «у них вероятно есть тоже внук, такой, как я, которого они любят; значит, их надо любить, помочь им чем-нибудь, чтобы внуку их было хорошо». Из эгоистического чувство постепенно развивалось сознательное желание быть честным, полезным людям вообще. Практическая любовь ко мне бабушки, доставляемые этой любовью жизненные удобства, воспитывали мое моральное «я» с несравненно большим успехом, чем ожидавшая меня в будущем холодная прописная мораль различных учителей Закона Божьего, классных наставников т. п.

На всю жизнь запечатлелось в моей памяти такие два ничтожных мелких случая, повлиявшие на мою душу очень сильно.

Как то, в лесу, в нашем имении, в жаркий день, мы нашли кусты земляники или черники, я с братом набросились на них с жадностью — было жарко и хотелось пить; бабушка тоже собирала ягоды и затем отдала все их нам; я инстинктивно почувствовал, что ей приятнее видеть наше удовольствие, чем самой полакомиться ягодами; впервые тогда озарила меня мысль о красоте и смысле не чисто личного животного наслаждения; (Л. 13) никакая литература, никакие проповеди в будущем так ярко, как этот простенький случай, не вскрывали передо мной значения альтруизма в жизни людей.

Другой случай — бабушка читала нам вслух какой-то старый английский роман. «Мистер Карлтон» — /до сих пор помню фамилию героя и его наружность / и его приятель, отправляясь на прогулку в лес с дочерью местного помещика, обещают последней, что они не буду стрелять при ней; шутя, приятель Карлтона, увидя дочь, снимает ружье и прицеливается; Карлтон его останавливает, ссылаясь на данное обещание. Прочтя это место, бабушка остановилась, приподняла очки на лоб и строго сказала нам: «вот, запомните дети, когда вырастете — будьте так же честны в исполнении своих обещаний, как мистер Карлтон».

Под влиянием таких мелочей, которые могут для взрослых показаться совершенно ничтожными, и складываются детские души — но для успеха воспитателя нужна именно действительная большая любовь к воспитываемым и к людям вообще.

Читали я и брат без всякого разбор и наблюдения. У нас была большая библиотека; бабушка и мать, скупая в уездном городке — Бендерах, открыли библиотеку для общего платного пользования; обычно выдавала книги и давала советы подписчикам бабушка; впоследствии, лет через двадцать, будучи проездом в Бендерах, я слышал похвалу бабушке от одного местного старожилы за эту ее деятельность. Пока бабушка была занята с подписчиками, я и брат вытягивали с полок разные книги и читали их наперегонки; к восьми годам я прочел уже очень много; вслух же бабушка читала нам различные страшные и поучительные романы, едва ли имевшие художественное значение. Историческая хроника Дюма, в особенности

Королева Марго, навсегда осталась моей любимой книгой; помню также, что при чтении некоторых мест «Графа Монте-Кристо» бабушка сама вытирала слезы на глазах.

Помню ещё, что с самого раннего детства лица Пушкина и (Л. 14) Лермонтова были для меня чем-то священным; я подолгу, раскрыв первую страницу их произведений, смотрел на их портреты и даже иногда целовал. Кроме художественной литературы, моей любимейшей книгой была и осталась таковой на всю жизнь Зоология Брема — но, будучи ребенком, я и к зоологии относился с точки зрения художественных настроений, с точки зрения мечты о далеких странах, зверях и птицах, наблюдательность же, настоящее опытное изучение природы от такого чтения во мне не развивались. Бабушкино чтение вообще развивало во мне область чувства, будило инстинкты героизма и душевной красоты, но не давало знаний, если не считать многих, но весьма отрывочных, исторических и отчасти географических сведений. Это и программа классической гимназии, в которую я был определен в Киеве, предопределили мою судьбу и мои качества, как человека, наряду с серьезной работой любившего всегда различные приключения, личную свободу, оригинальных людей, не легко поддававшегося внешней дисциплине и больше всего пригодного не к повседневной практической, а скорее теоретической кабинетной работе.

Романтическое, а не реальное, настроение мое особенно ярко сказалось в любимой моей детской игре с братом: один из нас садился на качели, другой, бегая, раскачивал ее и называл себя именем какого либо животного из сказки; напр., я спрашиваю, кто пришел меня качать; брат отвечает: «лисичка»; затем появлялся «медведь», «пастушок» и т. д.; и вот наступал день, момент печали, какое то инстинктивное угадывание преходящести всего земного и следующей за ним вечности; задавался вопрос: «лисичка, ты ещё придешь когда-нибудь?» Ответ: «нет, никогда; это в последний раз я качаю тебя». Я помню, как после такого ответа сжималось сердце, делалось грустно, каждая секунда, проводимая с «лисичкой» казалась дорогой и, наконец, — «лисичка, прощай, прощай навсегда». По правилам нашей игры, попрощавшийся зверь не мог никогда уже более называться нами. Последнее «прощай», и затем — большая мировая печаль.

Из детского периода моей жизни в г. Бендерах особенно ярким событием является посещение мною впервые театра, произведшее на меня, конечно, потрясающее впечатление. Кружок местных любителей, преимущественно офицеров и их жен, поставил «Наталку Полтавку»; главные роли исполнились М.К. Хлыстовой /Наталка/, моей матерью /мать/ и братьями Тобилевичами; кружок этот, приглашению знаменитого Кропивницкого, впоследствии преобразовался в профессиональную труппу; в нее не попала только моя мать, несмотря не все ее стремление на сцену /у нее был прекрасный голос и большие артистические способности/, т. к. этого не пожелал, кажется, мой отец. Кружок дал мощное развитие малорусской драме; он состоял из первоклассных талантов: М.К. Хлыстова, рожд. Адамовская, двоюродная сестра моей матери прославилась под фамилией Заньковецкой /взятой от названия ее хутора «Заньки»/, бра-

тья Тобилевичи на сцене приняли фамилии Садовского, Саксаганского и Карненко-Караго, сделавшиеся гордостью малорусской сцены.

Моя мать, помимо сценических и вокальных способностей, в украинских кругах приобрела имя как поэтесса /«Одарка Романова»/. Знатоки языка весьма ценили всегда ее чистый, без галицийской полонизации и немецкого производства недостающих слов, язык Черниговщины и Полтавщины, а также ее удивительно музыкальный стих. Думаю, что в Украинской литературе некоторые из ее стихотворений будут всегда помещаться в школьных хрестоматиях, в качестве образцовых, а народные легенды /напр., «Сватанье мороза»/ в звучных стихах сохранятся в народе в обработанном их виде. Мать, сравнительно с бабушкой, меньше занималась нами, но влияние ее на нас тоже было исключительно «романтического», а не реально-материалистического порядка, она привила нам с ранних лет любовь к поэзии и музыке. К чести ее надо отнести, что в ней не было гадкого украинского фанатизма; Пушкина, а не Шевченко, прежде всего она научила нас любить, а от Пушкина — вся моя неискоренимая никакими событиями любовь к России вообще, а не к какой-либо отдельной ее части. По словам матери, первая фраза, которую она от меня услышала после долгой разлуки /я жил с бабушкой под Киевом/, была сказана мною по-украински. Мать поздоровалась со мною и сразу за что-то сделала мне какое-то замечание; я обиделся, т. к. никаких замечаний не вносил вообще, и сердито ей заявил «а я тобі горобчика не спиймаю». Курьезно, что я за всю вообще жизнь не поймал ни одного воробья; значит, уже в три года у меня развилось какое-то самомнение, в стиле «Трех Мушкетеров» Дюма, ни на чем не основанная «спесь», как впоследствии прозвала меня одна девочка.

И вот, несмотря на то, что украинский язык в сущности был для меня родным, я почти без акцента владел русским языком, очень всегда его любил и тонко понимал; никогда не пришло бы мне в голову заговорить на Киевском волапуке «я скучаю за тобой» и т.л. Будучи взрослым, живя преимущественно в Петербурге, я, к сожалению, забыл малорусский язык, хотя все, конечно, понимал на нем, напр., посещал малорусскую драму. Я говорю «к сожалению», т. к., по моему убеждению, музыкальная малорусская речь, если и не может и не должна являться конкурентом великого русского языка, то во всяком случае имеет все права гражданства, при сравнении, например, с южно-славянскими наречиями, в особенности для красочного изображения народного быта.

От матери, которая юные годы провела в консерватории в Москве, я впервые услышал о Чайковском и Московском его ученике Сергее Танееве; тогда только что появился «Евгений Онегин», мама с бабушкой играли в четыре руки, я ничего не понимал, но уважал Чайковского, как учителя матери; по ее рассказу, он рисовался мне изящным, томным молодым человеком, с женственными задумчивыми серыми глазами, нюхающим постоянно в классе какую-то соль или духи; Танеев — сверстник матери, был конфузлив, диковат, задумчив; его очень любил Чайковский. Я как бы предчувствовал в детстве чем, какими лучшими наслаждениями в жизни я

буду обязан музыке вообще, в частности двум названным композиторам, таким близким мне, каким-то как будто родным, по рассказам матери, с ранних детских лет; тогда же фамилия «Глинки» была окружена уже в моих глазах тем же ореолом, как Пушкин. Это все — влияние матери.

Странно, что при всем этом я был в детстве удивительно немзыкален, не имел слуха, впрочем никогда его и не развил, в смысле возможности что-либо правильно спеть, хотя бы «чижика», пения терпеть не могу вообще, особенно женского, лет до двенадцати; впоследствии, увлекаясь оперой и симфоническими концертами, прекрасно разбирался в достоинствах капельмейстера, оркестра /слыша фальшь/, певцов, быстро, с первого раза часто, усваивал красоты сложных произведений, не выносил пошлости /напр., многое из Массене/, научился без принуждения играть на рояли, часто слышал от понимающих музыку, что хотя у меня нет техники, но видны большие музыкальные способности.

Оперы и в этом роде сравнительно доступные вещи я легко всегда играл *à livre ouvert*¹. Рояль дал мне очень много в жизни, несмотря на дилетантизм моего исполнения; он заполнял часы моего досуга и усталости, а главное спас меня от карточной игры.

Итак, детские годы мои прошли под влиянием женщин и искусства. Отношения мои с отцом были всегда проникнуты взаимной любовью, но ближе сошелся я с ним уже в более зрелом возрасте. Он всегда очень любил игру в карты, которые я ненавидел, но за всю жизнь выпил, вероятно, не более двух рюмок водки; вина он не выносил органически. Я, в этом отношении, не пошел в отца; насколько он ненавидел вино, настолько я увлекался часто спиртными напитками. Я любил их и во вкусовом отношении, и за то приподнятое поэтическое настроение, которое они, при моем уклонении в сторону романтизма, давали мне во время трапез с друзьями.

В 1883 году я был определен в пансион классической Киевской 1-ой гимназии, впоследствии по поводу столетия получившей название Императорской Александровской, в память императора Александра I. Гимназия эта занимала тогда всю роскошную усадьбу, выходившую на четыре улицы, с огромным садом, окаймленным высокими тополями. Фасад громадного здания гимназии, так называемой Николаевской постройки, отличающейся всегда мощной красотой, выходил на одну из красивейших улиц Киева — Бибиковский бульвар. Напротив гимназии в восьмидесятых годах был пустырь, частью обработанный под огороды; впоследствии здесь был разбит красивый большой сквер — Николаевский, в центре его с памятником Императору Николаю I, обращенному лицом к великолепной красной громаде здания Университета.

Одним словом, и тогда, и теперь — это одно из живописнейших мест Киева.

Бесконечный главный коридор гимназии, полутемный коридор со сводами верхнего этажа, где помещался гардероб пансиона, общие дортуары на 50 человек, выстроенные рядом кровати с одинаковыми на каждой оде-

¹ Буквально: «при открытой книге», здесь: «с листа», «без подготовки».

ялами, комната для занятий с рядом мрачных парт, с двумя всего свечами на каждой для шести учеников, вообще казенный холодный вид всего здания — все это произвело на мои нервы потрясающее впечатление, и я долго тосковал о домашнему уюту и бабушкиным ласкам; как только наступала ночь и вообще там, где меня не могли видеть — я неистово плакал. Прощаясь с бабушкой, я бодрился, ибо был самолюбив, но, как теперь, помню то ощущение, когда она меня в воротах громадного сада поцеловала в последний раз, и я внешне бодро зашагал по дорожке сада к группе гимназистов. Это — ощущение перелома в жизни, сознание, что нечто очень хорошее осталось позади и началось что-то неизвестное новое и может быть печальное. Второй раз я испытал то же самое по окончании Университета и поступлении на службу и — в последний раз, наконец, когда понял, что личная жизнь кончена, так как почти все близкие друзья мои уничтожены большевиками, и жить, как прежде, больше не придется.

Я знал, что над новичками издеваются и бьют, но настолько не допускал мысли, что меня кто-нибудь мог бы ударить, меня, который был уверен, что я всем должен нравиться /мальчиком я был очень красив, и знал это/ и который сам хотел всех любить, ибо так мне было внушено бабушкой, что действительно я ни разу не явился в пансионе предметом каких бы то ни было шуток, но сразу стал почти общим любимцем. Тут я впервые понял, что сила — действительно внутри нас.

Я был очень живой и остроумный мальчик, что ставило меня всегда во главе различных игр и шалостей; такое мое положение все более развивало во мне самолюбие и самоуверенность, укрепившиеся во мне на всю жизнь и часто портившие мои отношения с людьми, а главное — явившиеся плохой подготовкой к стоическому отношению к жизненным противоречиям.

Во второй год пребывания моего в пансионе, моему самолюбию дана была особенно благоприятная почва. Во-первых, я на латинском языке сочинил басню под названием, кажется, «Лисица и волк». Басня эта привела в восторг нашего учителя латинского языка и воспитателя пансиона добрейшего чеха А.О. Поспишиля и читалась массой гимназистов; я решил, что я — будущая литературная знаменитость. Во-вторых: у нас сформировался любительский цирк, дававший свои представления в саду; я получил в нем ампула клоуна, и каждое мое выступление сопровождалось смехом, овациями, забрасыванием меня конфетами. Это окончательно вскружило мне голову. В цирке был оркестр на гребешках, гимнасты, наездники /гимназист ездил на гимназисте/, дрессированные лошади и осел, обязанности которого выполнял именно самый глупый из наших сверстников. Мы все несомненно переживали в цирке подлинные ощущения артистов.

Представления наши закончились инспекторским разгромом цирка; вызвана кара была тем, что мы стянули из пансионского гардероба и, кажется, попортили много казенного добра /одеял, простынь и т. п. /; труппа в разгаре представления была арестована педелями /«дядьки» в пансионе/ и приведена в цирковых костюмах под гримом /я напудренный и с красным носом/ к инспектору на расправу. Строгий, но добрый и чуткий инспектор К.Н. Воскресенский, вызывал нас поочередно, расспрашивал

каждого о роли в цирке; рассмеялся, когда явился перед ним «осел»; очевидно оценил нашу детскую наблюдательность. К высшей мере наказания был присужден директор цирка С-о, который, по слухам, впоследствии действительно поступил в настоящий цирк. «Директору цирка отвести, конечно, отдельный кабинет» — сказал Воскресенский, и С. был посажен в карцер за решетку. Остальные подверглись заключению в классах на свободное от занятий время. Я отсиживал, кажется, с перерывами несколько дней; помню, что наказание мне было продлено за то, что я использовал ящик /«пюпитр»/ парты, перед выходом из заточения, в качестве уборной.

Справедливость или произвольность, а в особенности глупость наказания инстинктивно верное определяется детьми. Воскресенский понимал хорошо детскую душу и индивидуальность каждого пансионера; потому его строгость не вызывала ни ропота, ни насмешек.

В области [из] различных мер наказания припоминаю следующие, наиболее характерные, случаи.

Я очень любил есть всегда, в детстве в особенности. Мой аппетит возбуждался даже такими словами сказки: «петушок, золотой гребешок, маслянная головушка». Бабушка всю жизнь вела со мной борьбу, даже тогда, когда я был уже взрослым, по поводу моих излишеств в пище. Дневник мой гимнастический пестрит такими записями: «1-го съел три десятка слив, 2-го принимал касторку и не был на уроках» и т. д. Пансионский стол, по сравнению с домашним, был не только мало вкусен, но и не достаточен; первая половина дня была обставлена в этом отношении ещё удовлетворительно: в 7 ½ ч. или в 8 ч. утра стакан чая с пятикопеечной булкой; в 12 ч. завтрак из одного мясного блюда и в 3 ч. дня обед из трех блюд; после этого перерыв до 7 ½ ч. вечера, когда полагался только один стакан чая с булкой. К пяти-шести часам вечера большинство начинало ощущать голод, и за чаем особенно хотелось съесть что-нибудь более существенное, чем одна булка. Мы обычно брали за обедом в карман по несколько кусков черного хлеба с солью, который и съедали, запивая водой, часов в пять вечера. К чаю же можно было покупать на свои деньги кусочек сыра или колбасы, либо стакан молока. Денег на руки нам /малышам/ не давалось /они хранились у инспектора/, кроме 15 коп. в неделю на мелкие расходы /напр., на зубной порошок, мыло, ибо казенное почти не мылилось и т. п./. На расходы же по буфету в столовой вместо денег выдавалась подписанная инспектором записка на право забора закусок на один рубль, причем буфетчик Антон обязан был следить за тем, чтобы гимназисты не покупали у него слишком много; он исполнял строго и добросовестно это требование, у него приходилось просто вымалывать каждый кусочек колбасы или сыра, за что он прозывался «ярыгой», т. е. скупцом. Меня сравнительно Антон-Ярыга баловал, и записка моя на буфет использовалась сравнительно быстро, но тогда К.Н. Воскресенский задерживал на несколько дней выдачу следующей записки и я усиленно налегал на черный хлеб. В один прекрасный день, «директор» цирка показал мне, какого искусства достиг он в подражании подписи Воскресенского и предложил мне за угощение

выдать буфетную записку; я, конечно, согласился, ибо ничего предосудительного в этом не видел, знал, что буфетчик за каждую записку, представленную им инспектору, получает расчет из денег, внесенных моей бабушкой на мои мелкие расходы. Очевидно, однако, что инспектор вел учет всех подписываемых им буфетных записок, т. к. продела наша была скоро обнаружена; С. понес какое-то тяжкое наказание, а впоследствии был исключен из гимназии, я же долго ждал наказания и переживал неприятные дни в этом ожидании; дождался его в такой форме: как то, встретив меня в (Л. 22) коридоре, Воскресенский строго погрозил мне пальцем и сказал «обо всем узнает бабушка»; это для меня было хуже карцера, ибо я понял ясно, что сделал что-то очень скверное. Вдумчивый педагог правильно учел мою психологию и нравственное значение для меня бабушки.

Другой случай наказания: я в церкви во время обеда ударил шутя одного пансионера по лицу; меня вызвали в алтарь, где мне было предложено положить сто поклонов; карцер или лишение отпуска за такой проступок были бы для меня тяжелее, но моральное значение наказания было сильное.

Глупому наказанию я подвергся за такой проступок: наловив в саду несколько десятков лягушек, я часть их посадил в ящик парты одного из моих товарищей — вызывавшего постоянные насмешки своей «растяпостью»; когда он сел за занятия и полез в ящик за книгами, лягушки начали выпрыгивать из ящика; это привело «растяпу» в неописуемый и беспомощный ужас. ПО выяснении виновного, воспитатель заставил меня перенести всех лягушек под «часы» — большие стенные часы в коридоре, под которыми отбывалось наказание провинившимися «стоять на часах»; мне было предложено очертить мелом круг на полу, в пределах этого круга разместить лягушек и сторожить всю ночь, чтобы лягушки не выпрыгивали за пределы круга; я через некоторое время выкинул всех лягушек в окно в сад, а сам ушел спать.

В общем, сидеть в заточении мне приходилось довольно часто.

В гимназии я провел десять лет, начинал с приготовительного класса и включая двухлетнее сидение в пятом классе; три года я был в пансионе, а остальное время «приходящим», т. к. дела родителей моих пошатнулись, они переехали в Киев, имение было продано, и года четыре нам приходилось терпеть сильную материальную нужду включительно до недоедания и холода в квартире по недостатку дров.

В пансионе большинство жило единственной мечтой — надеждой поскорее дожидаться праздничных или летних каникул.

Я усердно и радостно вычеркивал на календаре каждый прожитой до Рождественных праздников день; ничего я так не любил в то время, как утренние причитания нашего старого дядьки Ивана, по прозвищу «ябеды»: «вставайте, вставайте, Рождество уже на веревке висит», это было в ноябре; в конце месяца Рождество висло уже «на веревочке»; в начале декабря «на ниточке»; а к двадцатым числам декабря «на паутинке»; в день же отпуска «паутинка рвалась», и тут добродушному Ивану не приходилось уже долго будить нас. Появлялась моя бабушка и тетка моего друга с

детских лет В.И. Ф-ко, мы раздавали рубли нашим дядькам и весело разъезжались по домам.

Летние каникулы я проводил в нашем имении, а после продажи его — на пригородной даче бабушки у Китаевского монастыря.

Здесь обычно я жил и на Рождество, и на Пасху /двухнедельные каникулы.

В Китаеве, о котором я расскажу подобно ниже, особенно любил я Пасхальные каникулы; большего впечатления, чем в старых китаевских монастырях Страсти и Пасхальная заутреня никогда нигде на меня не производили, несмотря на скромную обстановку и плохой монашеский хор; старец игумен, старцы иеромонахи, старцы дьяконы, каждый по-своему делающие возгласы, оживленные праздником, с которым у каждого в далеком домонастырском прошлом, связаны многие дорогие воспоминания, приветливо радостное обращение их к молящимся со словами «Христос Воскресе!» и поспешный ответ мужиков и баб «Во истину Воскресе!», с ударением на последнем слоге, затем возвращение домой лесом уже после ранней обедни, на восходе солнца, когда ночные крики пугачей вокруг монастыря заменяются перекликиванием иволг и синиц, затем угощение пасхами, куличами и бабами, в изготовлении которых я и брат любили принимать всегда живое участие — все это не может быть никогда забыто.

Каникулы были действительно заслуженным нами отдыхом, т. к. гимнастическим занятиям отдавалось в общем очень много времени: от 9 до 2 1/2 ч. дня /пять уроков/ и часа два-три домашнего приготовления уроков или, по крайней мере, формального сидения за таковыми. Что же давали нам эти, посвященные непосредственно гимназии, занятия?

Подавляющее большинство моих учителей, когда о них вспоминаешь в перспективе далекого прошлого, были несомненно люди весьма порядочные, за скромное вознаграждение добросовестно исполнявшие возложенные на них обязанности, люди большой доброты и сердечности, но самая система преподавания не могла нас увлечь, заставить полюбить науку, а главное, дать нам сознание ее действительной необходимости. Уроки задавались от сих пор до сих пор, чрезвычайно редко урок посвящался какому-либо обобщающему чтению, живому рассказу, который поставил бы в связь разрозненно зазубренные сведения, дал бы из них интересные выводы; обычно весь урок сводился к спрашиванию выученного на сегодня, причем по большей части заранее можно было высчитать, когда дойдет до тебя очередь; уроки поэтому часто учились с пропусками несколько предыдущих, что еще более лишало смысла и интереса изучаемый предмет. За десятилетнее мое пребывание в гимназии я помню только несколько единичных уроков, которые заинтересовали и остались в памяти.

В первом классе это были художественно-образные рассказы из ветхозаветной истории священника Ильи Экземплярского; его манера говорить, красота жестов и удивительно приятный по тембру голос невольно приковывал внимание к каждому его рассказу; приняв монашество, он стал викарным /Чигиринским/ епископом Киевской митрополии, под именем Теронима, а умер в сане Архиепископа Варшавского; все возгласы он пел

сильным красивым тенором, а более красивой службы после него я ни разу не видел. «Призри с небеси, Боже, и виждь и утверди виноград сей, его же насади десница Твоя» — иногда закроешь глаза и перед мысленным взором встает величественная фигура этого Архиерея с лицом Святителя Николая Чудотворца и слышится в душу идущий, исключительный по красоте голос его.

В пятом классе гимназии нам учитель латинского языка Т.И. Косоногов, перед чтением Овидия дал нам очень красочную характеристику Аякса и Одиссея, оспаривающих право на меч погибшего Ахиллеса; Аякс простой, откровенный, неискушенный в красноречии и дипломатическом искусстве, храбрец воин, а Одиссей — умный, хитрый, красноречивый. Аякс грубо и просто перечисляет свои заслуги при взятии Трои. Одиссей же с ложной скромностью отдает должное Аяксу, умаляет свои собственные заслуги и лишь постепенно осторожно приводит слушателей к неоспоримому сознанию, что не будь Одиссея — не пала бы Троя; меч присуждается ему; Аякс убивает себя, из крови его вырастает нарцисс. Этот один из многих красивейших шедевров Овидия заинтересовал нас в целом, возбудил желание почесть его до конца только потому, что мы были до приступа к чтению ознакомлены с его содержанием, заинтересованы характеристикой, типом двух речей. А ведь все остальное что мы читали и бессмысленно дословно переводили на русский язык — давалось в виде бессвязных отрывков, в строк 20–25 каждый; художественная физиономия автора, его значение и особенности, полное содержание произведения оставались неизвестными; все в сущности сводилось механическому переводу отдельных предложений; еще, конечно, глупее были переводы с русского языка на латинский или греческий; грамматика преобладала над смыслом и красотой классиков. Между тем, оба древних языка были главнейшим предметом; неуспехи в них закрывали возможность получения аттестата зрелости; не выдержавшие скуки, иногда способные мальчишки уходили в юнкерское училище. Сам я совершенно случайно избег той же участи. Уже в четвертом классе я был плох по языкам, в пятом же, когда за письменную работу получал единицу с плюсом, учитель объявлял торжественно, что «Романов поправляется». Мне назначена была после экзаменов «повторка» по греческому и (Л.26) «передержка» /после каникул/ по латинскому языку. Я обозлился, взял себя в руки и, приехав на дачу в Китаев, прочел сразу полностью всю грамматику несколько раз и всего Юлия Цезаря, и вдруг мне стал ясен дух, строй латинского языка; в две недели я стал понимать, а главное, чувствовать его лучше, чем за пять лет гимнастического обучения; не хватало только слов, но и они приходили по мере чтения, не по 20 строк, а сразу по 20–40 страниц. С этого лета, я, без помощи учителей, понял высокую красоту латинского языка, красоту Овидия, Горация и проч., и стал выдающимся в гимназии «классиком». Но как ни курьезно, на передержке я получил единицу, потому ли, что еще не был уверен в себе, потому ли, что учителя были предупреждены против меня, как самого скверного в классе латиниста. Такова случайность экзаменов! Невероятно был изумлен новый мой учитель — классик И.А. Григорович, экзаменовавший меня на пере-

держке, когда за первую же письменную работу по латинскому языку ему пришлось поставить мне пять — урок был написан без ошибки. Греческий язык, уже среди «учебного года, я изучил по той же «моей системе», как я латинский /сразу чтение всей грамматики и всего Гомера/ и с тех пор по обоим языкам имел только высшие отметки. К старшим классам гимназии я достиг такого совершенства в знании древних языков, что к урокам почти не должен был готовиться: читал классические произведения и писал почти безошибочно. Робкий, конфузливый добряк-чех И.А. Григорович, часто подвергавшийся мальчишеским насмешкам за его смешной чешский выговор и чрезмерную застенчивость, избегал меня «вызывать», делал это только для «проформы», чтобы хотя раз в месяц в журнале против моей фамилии стояла соответствующая отметка; он чувствовал мое превосходство; перед вызовом меня как то нерешительно долго разглаживал классный журнал и затем, краснея, тихо произносил мою фамилию. Он требовал не литературного, а буквального, без пропусков, перевода каждого отдельного слова; отсюда (Л. 27) получались такие дикие фразы: «он де мол не не любил», «она шла, неся на коленях ребенка» и т. п.; такие переводы и заунывный голос учителя, произносившего русские слова как-то однообразно нараспев по-чешски, наводили безумное уныние на учащихся и возбуждали в них только ненависть к классицизму.

Между тем, я, усовершенствовавшись в языках, быстро постиг, что остальными предметами могу не заниматься, ибо мой классицизм обеспечивал мне удовлетворительную отметку — тройку по всем предметам, как бы плохо я ни знал их. Спокойный всегда учитель математик — любимец гимназистов И.И. Чирьев, возвращая мне тетрадку с нерешенной задачей по алгебре или геометрии, приговаривал с легким упреком: «у Вас, Романов, если и были когда-либо какие-либо знания по математике, то они давно уже исчезли», а другой математик — вспыльчивый, но тоже общий любимец С.К. Ильяшенко, сознавая невозможность бороться с засильем классиков, объявлял, что тройка мне выводится в четверти только «за чересчур уж хорошее знание языков».

При таких условиях, я к восьмому классу гимназии не имел почти никакого представления об алгебре, но, как ни странно, добровольно в две недели залпом, так сказать, прошел с моим другом Володей Ковалевским курс тригонометрии и великолепно усвоил этот предмет, даже полюбил его: Ковалевский умел объяснить основы, сущность тригонометрии во всем ее целом виде, а не поурочно, заинтересовать ее логичностью и красотой фигурного рисунка.

Наиболее привлекала внимание врагов «классицизма» физика; единственный предмет, преподавание которого сопровождалось оптами в специальном физическом кабинете. Увы, я не могу вспомнить ни одного удачного интересного опыта, скучал я в физическом кабинете беспросветно, за все мое пребывание в гимназии был вызван один раз, получил единицу и в дальнейшем, как классик, был оставлен в покое; по этому предмету я абсолютно ничего не знал. Ни естественной истории, ни начал анатомии и физиологии в мое время в гимназии не преподавалось — в этом отно-

шении мы, получив «среднее» образование, оставались круглыми невеждами.

География изучалась только до пятого класса гимназии и, кажется, повторялась в восьмом. Бессмысленное заучивание ничего не говорящих ни уму, ни воображению названий, сведений о том, что в Греции водятся козы, а где-то больше всего лошадей и т. д., родины, ее величайших богатств, мирового значения ее колоний — Сибири с Приамурьем, Туркестана и проч. мы не знали; этому предпочиталось зазубривание названий губерний, рек, без общего плана, связи, одухотворенного сознания величия России, ознакомления с ее экономическими возможностями. Когда я прочел случайно несколько лет тому назад учебник географии, составленный моим товарищем по гимназии Е.В. Кистяковским, я позабавился нынешней молодежью; она действительно изучала свое отечество, а не голые названия и цифры. А между тем, и у нас был знающий учитель географии — маленький, с бородой Черномора, старичок Н.Т. Черкунов; он много путешествовал, многое лично наблюдал, собрал на свои скромные средства порядочную естественно-географическую коллекцию, которую завещал нашей гимназии; у него были немногие «любимчики», которых он приглашал к себе, демонстрировал им различные предметы своей коллекции, давал интересные объяснения, а главное устраивал игры в «железную дорогу» по географическим картам, что гораздо лучше, чем сухой учебник, способствовало запоминанию учениками различных городов, гор, рек и т. п. На роках же в гимназии, единственно, что было живого — это, пожалуй, различные веселые анекдоты из жизни экзотических народов, а в особенности китайцев. Я к числу любимцев не принадлежал, а потому и географические мои знания в гимназии были немногим больше физико-математических.

По истории в памяти моей остались несколько не уроков, а настоящих лекций учителя, впоследствии профессора Киевского Университета, П.В. Голубовского о континентальной системе Наполеона; вдруг, после бессмысленных описаний браков разных королей со всегда «прекрасными» королевами, после сухих хронологических цифр, была дана ясная, обобщенная, с объяснением причин и следствий, картина определенной исторической эпохи; стало сразу ясно, что без знания прошлого нельзя постигать настоящего, т. е. было разъяснено самое главное — значение и необходимость читаемой науки. И это было один раз всего за весь гимназический курс. Наш учитель истории — до старших классов гимназии, директор ее, А.Ф. Андрияшев занимал эту должность чуть ли не до 50 лет; это был очень важный, почтенный старец, которого за две звезды на вицмундире, большой живот и властно-хриплый голос я считал самым главным гимназическим начальством, выше попечителя округа. Обычная его резолюция была, когда до него доходило дело о какой-нибудь провинности гимназиста» на 34 часа в карцер». Произносилось это с важностью, но вместе с тем без всякой злобы, со старческой добротой; вот, мол, как напугал виновного. Он пользовался, как общественный деятель, большой известностью в Киеве: издавал ежегодный календарь, работал в обществе попечения о слепых и почему-то славился трудами по пчеловодству. По

неизвестной нам причине, он прозывался «Аписом», так дошло это прозвище к нам из глубины веков.

Представить себе 1-ую гимназию без Аписа было невозможно, а потому, когда он был уволен в отставку, кажется, в 1890 году, и на его место был назначен более современный педагог математик И.В. Посадский-Духовской, стало как-то первое время грустно; особенно за утренней общей молитвой в актовом зале не доставало величественной фигуры прежнего директора, неизменно при звуках «Спаси, Господи, люди Твоя» начинавшего вытирать слезы на своих ласковых глазах, а при словах «Императору Александру Александровичу» плакавшего иногда настоящим образом; ведь он в тех же стенах слышал моление о победе «Николаю Павловичу». Так вот этот самый старый директор важным сиплым голосом не рассказывал, а вещал нам о Трое, Египте, в частности об Аписе действительно почему-то с особыми подробностями и чувством, о Сиракузских тиранах и проч., и проч. Все это без связи между собой, но для оживления урока большей частью с указаниями всех исторических мест на карте; при этом широкой ладонью он обыкновенно закрывал какое-либо место на карте и спрашивал весь класс: «что я закрыл?»; один кричал «Афины», другой «Фивы», третий «Спарту» и т. д. Всеми ответами он был удовлетворен, по-генеральски с кашлем хохотал и отвечал с удовольствием каждому крикуну: «верно, верно».

Новые языки преподавались так, что тот, кто знал их дома, обычно забывал или, во всяком случае, лишался правильного произношения под влиянием невероятного, без поправок учителя, чтения разнообразно, каждый по своему, произносивших иностранные слова учеников: напр., большинство не выговаривало французского носового «н»; слово «*ur*» одни читали «ан», другие «эн», а третьи «он» и т. п., и только меньшинство произносило «*un*», и т. д. в том же роде.

Опять-таки и в преподавании новых языков требовались главным образом, сухие грамматические знания, зазубрение различных правил и исключений, сопровождаемое скучным чтением бессвязных отрывков. Обязательным был один язык: французский или немецкий, и большинство, чтобы избежать излишней скуки, предпочитало иметь свободный час вместо занятий обоими языками. Поэтому я, по окончании гимназии, понятие не имел о немецком языке, даже не мог прочесть слова, написанного готтическим алфавитом и вынужден был заняться этим важным для всякого культурного человека языком, уже будучи взрослым, с большими усилиями, но с малыми успехами. Французским языком я занимался самостоятельно дома, ещё будучи в гимназии, иначе и его я знал бы слабо.

Учителя французского и немецкого языка, вследствие их комичного русского выговора, были, как всегда, источником (Л. 31) большого веселья и шуток со стороны гимназистов, хотя, в виду их порядочности и доброты, как француз Метро, так и немец Г.Р. Бергман /по образованию богослов/ были всеми очень любимы. Особенность Метро представляла его крайняя вспыльчивость и чрезвычайно громкий, несмотря на сиплость, голос. Сипел он особенно сильно, как стало нам известно, всегда после посещения

оперетки «Прекрасная Елена» — его любимейшей пьесы. Он имел привычку вызывать по алфавиту к кафедре сразу по 6–10 учеников и спрашивал у них урок у всех сразу; как теперь помню выкрикивание им: «Булах, Гагаринских обои, Радченко, Руманов и т. д.»; обычно поднимал страшный крик, когда ни один из спрашиваемых не знал какого-нибудь слова; молчание он считал признаком крайне невоспитанности: «ти невежа, мужик и тот отвечает, когда его спрашивают, а ти молчишь и молчишь». Если случилось ученику перепутать построение фразы, Метро неизменно приводил свой излюбленный пример: «когда ти слышал, чтобы сначала убивали, потом дрались и потом ссорились; всегда сначала бывает ссора, потом драка и, наконец, убийство». Когда Метро умер, мы все были очень опечалены, и его место занял молодой изящный и хорошо воспитанный обрусевший француз Регаме; он вел уроки интереснее, но, к сожалению, с теми же, указанными мною выше, учебными недостатками, живого знания языка, выговора, он не давал.

Немец Бергман, благодаря его добродушию, подвергался усиленному вышучиванию, порою доходившему до грубости, за которую, впрочем, и он отплачивал ученикам фамильярной грубостью, без всякой взаимной обиды. Комик Ваня Колоколов любил, например, вести с Б. разговор в таком духе: «Густав Ричардович, разрешите один вопрос. «Ну что там тебе такое?» «Отчего, скажите, пожалуйста, ваш брат такой знаменитый, умный человек, а вы...» Брат Б. был известный хирург, переехавший из Юрьева в Берлин, когда началось обрусение б.[ывшего?] Дерптского Университета. Б., краснея кричал на К.: «ну вже, болван, садись». Тогда К., обиженно, добавлял: «за что вы (Л. 32) сердитесь, вы же не дали мне кончить; я хотел сказать: а вы еще умнее». Бергман улыбался и уже добрее говорил: «ну, вже садись, садись, дурак». Иногда Колоколов и Ко., при входе Б. в класс, озабоченно и с любопытством посматривали на потолок. Постепенно заинтересовывался и он, хотя и предчувствовал обычную шутку; посматривал на потолок мельком, затем вставал и смотрел пристально. «Ну вже что там такое нашли?»; ответ был всегда унылыми разочарованным тоном, с трагическим вздохом Колоколова: «ничего». Раздавалось звучное «дураки», и инцидент кончался. Моего друга Ваню Богданова, впоследствии известного инженера путей сообщения — строителя, Бергман вызывал всегда так «ну вже ты, Иван-болван, отвечай», а т. к. он в немецком не был силен, то учитель предсказывал ему самое мрачное будущее, говоря, напр.: «слушай, Иван, из таких как Штильман выходят профессора, а из таких как ты ... сицилисты». Положение социалиста представлялось, справедливо, Бергману самым мрачным в жизни.

Наибольший интерес в гимназии возбуждают всегда уроки словесности, и учителя-словесники пользуются обычно наибольшими симпатиями. И, действительно, те часы, когда нам читались отрывки из русских классиков, были, и в мое время, самыми приятными. Но, к сожалению, и эти часы были редки; опять-таки над всем преобладала теория и подробное изучение устаревших образцов литературы: Ломоносова, Сумарокова, Державина и проч. Вместо того, чтобы пробудить интерес к чтению, память уче-

ника забивалась сухими сведениями, как будто бы теория и есть источник литературы, а не следствие. Гончаров, Тургенев, Толстой, Майков, Достоевский, Фет и проч. только упоминались, изучение же останавливалось на Пушкинском периоде. При разнообразии общественно-семейных условий, в которых находились учащиеся, часть из них, попав, после гимназии, прямо на медицинский факультет, требующий много специального зубрения, так и не знала, что это такое за «Война и Мир», «Дворянское Гнездо», «Обрыв» и т. п. У меня (Л. 33) был товарищ, который, например, предлагал мне держать пари, что автор «Войны и Мира» — Шпильгаген. А.А. Андриевский, наш любимый учитель словесности, старался в нас пробудить интерес к современной литературе; читал нам Короленко, рассказывал о постановке «Плодов Просвещения» Толстого и т. п., но мы знали, что он в оппозиции к гимназическому начальству, что он «не благонамеренный», что, значит, рекомендуемое им не есть «от гимназии», а, наоборот, нечто нежелательное в гимназии.

Вот в воспитании в нас такого сознания, что все сухое, скучное, с нашей юной точки зрения не нужное преподносится нам принудительным порядком, по каким-то посторонним действительной нашей пользе соображениям, и заключался главный нравственный вред тогдашней системы обучения, гораздо, пожалуй, чем недостаток знаний, проистекавший от плохой системы обучения.

Постепенно, по мере нашего возрастания, мы проникались мыслью, что окончание гимназии необходимо только как неизбежное зло, для получения права попасть в Университет, а главное — что вся гимназическая система придумана каким-то высшим начальством, нам враждебным. По мере развития нашего, к старшим классам, мы, при таких условиях, делались естественно врагами современно государственного, а некоторые — и социального строя; начиналось чтение либеральных и социалистических рукописей или брошюр; они убеждали и увлекали тем, что совпадали с нашим оппозиционным настроением в отношении власти, придумавшей «гимназию».

Такому настроению отчасти способствовало и то, что именно лучшая часть наших учителей, по доброте своей или же по действительному убеждению, способствовала нам в борьбе с гимназическими утеснениями и формальностями, либо иногда бессознательно выставляла их в смешном виде.

Страдавшие алкоголизмом классики Лисицын и Царевский были наиболее любимыми учителями. Первый, почти не спрашивал учеников, увлекался в классе чтением какого-нибудь Вергилия, (Л. 34) мечтательно декламировал стихи Овидия, забывал об учениках и все чувствовали, что он действительно любит читаемое им и не делает как раз того, что требуется начальством. Царевский, в каком-то полупьяном экстазе, начинал вдруг наизусть «Анну Каренину»: «Все смешалось в доме Облонских» и т. д., а то иногда с пафосом убеждает кого-либо из гимназистов: «не пейте Смирновки, пейте только Поповку». Это такое необычное в сухой формальной обстановке гимназии, при ясной для всех истинной талантливости обоих больных классиков, подчеркивало, что правда и красота и знание на сторо-

не не подходящих к гимназическому строю людей. Добрейший инспектор А.В. Старков, заменивший К.Н. Воскресенского, старался часто освободить робеющего на экзаменах гимназиста, в особенности при угнетении его каким-либо свирепым классиком. «На парусах поплыли они» перевод с трудом что-то из Вергилия один мой товарищ; вошел А.В., услышал последнюю фразу, увидел растерянное лицо гимназиста и подбадривающе закричал своим резким картавящим голосом «ну, прекгасно, прекгасно, тги ему и на пагусах домой». А.А. Андриевский, обозясь на шум в классе, заявил, что это безобразие, что он обо все сообщит классному наставнику: «кто у вас классный наставник?» Ответ был «Вы, Алексей Александрович». «Фу, черт, а я и забыл». Общий смех и учителя и учеников.

Даже наиболее торжественные события в гимназии принимали порою комический оттенок.

Когда я был в младших классах, гимназию посетил Император Александр III; подготовка гимназистов к встрече Высокого Гостя началась, как жется, за месяц до его приезда; нас выстраивали в саду или на Бибиловском бульваре, по команде заставляли снимать фуражки; такие учителя, как Григорович, Черкунов и др., были очень смешны в роли командиров. «Станьте на флыгэлэ», командовал Григорович, и мы все покатывались со смеху; «шапки долой», командовал маленький Черкунов голоском, еле прорывавшимся из его громадной бороды, и опять веселый смех, но что хуже всего — это детское сознание, что нас хотят показать Царю не такими, какие мы на самом деле, т. е. хотят обмануть. Государь своей мощной, величественной фигурой, перед которой наш важный директор показался каким-то совсем ничтожным, чуть ли не учеником, произвел на нас громадное впечатление, но у меня почему-то больше остались на памяти красивых печальные глаза Наследника, будущего Императора Николая II. В конце восьмидесятых годов приезжал к нам министра Народного Просвещения гр. Делянов. Сопровождавшие его по классам директор Андрияшев на вопрос, сколько учеников в данном классе, отвечал наобум или на глаз: 30, 48, 52 и т. п.; в вашем классе, в котором сам Андрияшев был классным наставником, была названа им с большим апломбом цифра человек на 25 более действительной. По выходе из класса министра, учитель, весьма волновавшийся при разговоре с гр. Деляновым, чтобы после этого показать перед гимназистами свое равнодушие к высшему начальству, игривым тоном сказал: «да, жаль, что умер Гоголь; он бы хорошо описал эту картину». И мы все хохотали и от слов учителя, и от воспоминания о комичной старушечьей фигурке Делянова /он напоминал волшебницу Наину из Руслана/, с важной безапелляционности объяснений, которые давал наш старый директор, об озабоченной фигурке в дверях класса инспектора и видневшейся за ним физиономии самого заслуженного нашего педеля Максима, на которой было написано сознание какого-то величайшего священнодействия.

Наряду с подрывом в наших глазах авторитета власти, у меня, да и у многих среди моих товарищей, начался упадок и религиозности, приведший

в старших классах к атеизму, на излечение от которого потребовался ряд долгих лет чтения и работы над собою.

Мальчиком я был чрезвычайно привязан у церкви, очень любил и хорошо знал все подробности нашего богослужения, (Л. 36) следя по молитвеннику; в четвертом классе даже упорно мечтал даже поступить, по окончании гимназии, в Духовную Академию. В нашей гимназии была своя домашняя церковь и два хора, певших по очереди: один — нашей, другой — второй гимназии, которая собственной церкви не имела. Хор второй гимназии качеством голосов и стройностью пения забивал наш; в нашем были выдающиеся дисканты, между прочим, сын помощника попечителя учебного округа Ростовцева, и совершенно исключительный по чарующему тембру голоса тенор Дувиклер; он впоследствии недолго пел в опере, после блестящего дебюта на Киевской сцене в роли Фауста, но вскоре внезапно потерял голос. Его сильное «Отче наш» в гимназической церкви осталось в моей памяти на всю жизнь; церковь замерла при первых же звуках, дьякон, боясь, шевельнуться, простоял на коленях у Царских Врат всю молитву до конца, многие дамы плакали, по окончании священник выслал певцу просфору. Моей мечтой было попасть в церковный хор. Меня обнадеживало то, что наш регент Федор Иванович, по прозвищу «дудудушка», при встречах со мною, брал меня за горло двумя пальцами и нажимая на него неизменно говорил: «ну и голос же у тебя должен быть, дудудушка» /он заикался, а голос его звучал как из бочки/. Я долго робел и не шел, несмотря на неоднократные приглашения Федора Ивановича, на пробу голоса. Но, в конце концов, осмелился и появился в музыкальной комнате; Ф.И. взял на скрипке какую-то ноту, предложил мне тянуть ее; я затянул и сразу произвел такое впечатление на регента, что он закричал: «пошел вон дудурак; твоя бабушка такой джентльмент /так он любил выговаривать это слово/, а ты, черт тебя знает, что из тебя выйдет».

В этой форме им читались все нотации гимназистам, ибо он, помимо обязанностей регента, имел еще права помощника классного наставника; был он почему-то также и экономом гимназии; у него вышла на поприще эконома какая-то история с дровами, и добряка Федора Ивановича не стало в нашей гимназии. Колоколов /наш комик/ рассказывал нам впоследствии, что он встретился где-то с Ф.И., причем, когда они шли мимо склада дров, тот будто бы недовольно отвернулся и пробормотал «проклятые ддрова».

Несмотря на личную неудачу, я страстно любил церковное пение; в то время уже славился в Киеве знаменитый хор Калижевского в Софийском соборе; в составе этого хора был такой первоклассный дискант «Гриша», что его личные концерты привлекали массу публики в Купеческое Собрание. Я уже говорил выше о том впечатлении, которое производила на меня архиерейская служба моего бывшего законоучителя Экземплярского /Иеронима/; кроме того, одним из любимейших моих храмов был Братский монастырь на Подоле; этот старейший монастырь Киева поражает всегда своей неожиданной тишиной среди шума и оживления торговой части города; кажется, из современных лавок и рынков переносишься вдруг во

времена Петра Могилы. В мое гимназическое время ректором Киевской Духовной Академии и епископом Каневским был слепой Сильвестра, проживавший и служивший в Братском монастыре; у него был тенор очень приятного музыкального тембра; он, так же, как Иероним, пел все возгласы, но особенно трогательно было чтение им на память, с полузакрытыми глазами, Евангелия; «аз есмь пастырь добрый; пастырь добрый душу свою полагает за овцы своя ...», пел он, и вся церковь слушала, как один человек, бесшумно, тихо. Сильвестру неоднократно предлагались высшие назначения, но он уклонялся от них, говоря, что в Братском монастыре он знает каждую ступеньку и что в чужом, незнакомом месте ему — слепцу будет тяжело.

И вот с этим красивым духовным миром в полном противоречии находился гимназический религиозный режим. Сухие схоластические рассуждения, выговоры за непосещение гимназической церкви, а главное — если не лицемерие, то, во всяком случае, неумение найти искренние ноты, на что особенно чутко реагирует подрастающее поколение. Не стоит, неприятно останавливаться на подробностях этой наиболее мрачной ... страницы старой гимназической жизни; могу сказать одно, что (Л. 38) молодые души {могут} вверяться только исключительно чистым душой, религиозным воспитателям, а найти таковых в достаточном числе весьма трудно. Когда же ученик видит в законоучителе только выслуживающегося чиновника, делающего свое дело для начальства, а не для душ обучаемых, крах неизбежен. Я вспоминаю в данном отношении две характерные сцены, бывшие в классе моего брата. Законоучитель предложил гимназистам назвать наиболее любимых ими исторических героев; когда очередь дошла до К-го, который подозревался в вольнодумстве, он спокойно заявил: «Александр III»; священник начал пристально и зло смотреть в глаза К., как бы его испытывая; последний выдерживал взгляд, только по временам прыгали его толстые щеки от усилия сдержать смех; на несколько минут в классе водворилась глубокая мертвая тишина; затем раздался тихий, какой-то чересчур елейный голос священника: «почему?». К. немедленно ответил: «в виду ... простого образа жизни Государя». Священник еще несколько минут пристально посмотрел на К., затем с казавшейся деланной кротко-радостной улыбкой, обратившись ко всему классу, воскликнул: «да, доходят слухи, доходят слухи».

И никогда, вероятно, он не понял какой вред юным душам причинялся этой глупой комедией; ничто ведь так не роняет власти, как смех; сам священник, создав смешное положение вместо простого вопроса и ответа, что могло бы пройти незамеченным для класса, приковал его внимание к выходке К.-го.

Другой случай имел место во время предсмертной болезни Императора в Крыму.

Священник, чтобы оттенить в глазах учащихся значение происходящего печального события, во все эти тревожные дни, входя в класс, садился на кафедру, долго печально смотрел на учеников, затем шепотом говорил: «детки, Царь умирает» и начинал плакать; т. к. перед этой сценой прихо-

дилось иногда видеть священника в коридоре, на дороге в класс, спокойно (Л. 39) или даже весело разговаривавшего с кем-либо из учителей, на детской горе его производило впечатление официального, казенного; не было во всем этом той естественной простоты, которая одна может дойти до души мальчика-юноши. Когда впоследствии, в Университете, проф. Государственного Права Романович-Славатинский говорил: «незабвенный Император Николай I», и слеза блистала в его одном глазу /другой был стеклянный/, никто из студентов, несмотря на антимонархическое настроение тогдашнего большинства их, не сомневался, что так именно чувствовал этот старый честный государствовед, никому в голову не приходило бы посмеяться над его убеждением и чувством; в гимназии же казенный патриотизм вызывал только насмешку.

И в мелочах, читавшиеся нам душеспасительные нравоучения были в лучшем случае только смешны. Престарелый гимназист С., тщетно борющийся с сильным ростом своей черной бороды и усов, увлек на какое-то безнравственное «любовное» похождение одного из сыновей священника; провинившийся сын был подвергнут какому-то домашнему наказанию, а на следующий день в классе, в котором обо все происшедшем стало уже почему-то известно, священник сразу же по открытии урока, обратился к С.: «встань и слушай: дурное сообщество портит хорошие нравы; повтори что я сказал». С. мрачным равнодушным басом пробормотал: «дурное сообщество портит хорошие нравы». По требованию священника бормотание это повторилось три раза; класс еле удерживался от смеха; так все это было ненужно, формально.

Когда умер наш несчастный любимец Лисицын, мы все приняли живое участие в его похоронах; многие плакали, а с одним из гимназистов на могиле сделалась истерика. На ближайшем уроке Закона Божьего мы выслушали нравоучение, что чрезмерная скорбь по умершим противоречит требованиям религии, что надо уметь противоречить требованиям религии, что надо уметь спокойно подчиняться Воле Божьей, что истерика А. Была поэтому грешна и т. д. Увы, чувствовалось за всем этим в сущности неудовольствие, что мог быть так любим нами учитель-алкоголик, не одобрявшийся начальством. И нравственная пропасть между начальством и стадом его все более расширялась, особенно, когда бурные слезы по умирающем Царе стали в такое явное противоречие с поучениями о греховности острого проявления чувства по поводу ниспосылаемой Богом смерти.

Я не хочу осуждать; может быть наш духовный учитель был исполнен самых лучших намерений, убивать души наши умысла не имел, но, во всяком случае, ему не дано было чутья, таланта осуществить свои добрые намерения, ибо, повторяю, быть истинными духовными пастырями могут только десятки, а не тысячи.

Утопические мечтания о переустройстве государственно-общественной жизни человечества, с одной стороны, и циничные принципы: «все дозволено», с другой стороны, находили себе благоприятную почву в развращенной подобным воспитанием среде.

Я лично на себе испытал за гимнастическое время оба эти влияния; к счастью, первое — утопически мечтательное сразу же взяло верх и не только во мне, но и в подавляющем большинстве моих товарищей; таковы, очевидно, были у большинства семейные традиции и такова все-таки была нравственная порядочность большей части наших добрых учителей, что для восприятия нами безнравственных начал не было абсолютных условий.

Один из моих товарищей, не по годам серьезный, нравственно необыкновенно чистый и прямодушный, мечтатель В.Б. почему-то обратил на меня исключительное внимание, сблизился со мною и начал постепенно знакомить меня с социалистическими идеями; «вы увидите, как счастливы будут люди, когда не будут денег»; сам он был со средствами, а я беден /это было в четвертом классе гимназии/, но, тем не менее, особенно почему-то противился этой мысли, спорил, смеялся, но через год уже твердо решил, что, не разрушив современного социального строя, нельзя сделать человечество счастливым. Мы начали издавать рукописный журнал; я в нем поместил рассказ, который привел в восторг Б.; «да это уже настоящее революционное произведение»; он его дал прочесть одному студенту-филологу, который очень похвалил только описание Китаевского леса; меня это тогда страшно покорило и даже оскорбило: «слона-то он и не заметил», думал я, «а еще студент»; всегда влюбленный друг моего детства П. Написал для нашего журнала несколько красивых лирических стихотворений «о ней»; сам Б. дал один рассказ, прочтя который, моя мать сказала «как будет хорошо, если он на всю жизнь останется таким, как в рассказе»; рассказ был исполнен идеальной нравственной чистоты, и пожелание моей матери, кажется, исполнилось; наши жизненные пути разошлись, но, по слухам, Б. сохранил до старости свою душевную чистоту; к счастью отрешившись от беспочвенного утопизма; он бросил гимназию из-за отвращения к зубрению классиков. Рисунки для журнала давал наш способный товарищ О., поступивший в Академию Художеств и, в поисках новых путей, кажется, давший, как художник, гораздо меньше, чем с него ожидалось в юности.

Дружба. Беседы, чтение с Б. были одной из светлых страниц моей гимназической жизни. Но полностью это не могло меня захватить; я жаждал, по моему настроению и индивидуальным особенностям, приключений, романов и т. п. На этом поприще я столкнулся с влиянием противоположным тому, представителем коего был Б. В пятом классе гимназии у нас появился прибывший, кажется, из Петербурга новый товарищ Е.К., по прозвищу «виконт», ибо он претендовал на графский титул; мы в классе занимали место рядом; он приносил на уроки в банках одеколона разную водку, угощал меня; мы начинали часто болтать. Когда священник рассказывал нам историю апостолов, К возмущался: «удивительное дело, везде их били; ну скажи об этом кратко и просто — всюду были биты; зачем эти подробности, кому это интересно; странные люди — добивались непременно, чтобы их били; ты можешь понять такое желание?» Все это он, по обычной своей манере говорить, цедил как-то сквозь (Л. 42) зубы, со скучающе-равнодушным видом. Рассказ физика о Галилее, о том, как

под ударами плетей он повторял: «а все-таки вертится», привел К. даже в некоторое волнение, и он воскликнул: «вот невероятный идиот». Пускаясь в философию, К. любил доказывать, что люди не делают преступлений только потому и тогда, когда знают, что этого нельзя скрыть и сто за преступлением наверно последует наказание: «знай только ты, что никто не увидит и никогда не узнает, ты бы сам украл».

Наш законоучитель несомненно угадывал в К. нечто «бесовское»; он почти совсем не выносил разговоров с ним и спрашивал у него урок возможно реже; говорил ему «вы», обращаясь к большинству гимназистов всегда на «ты». Помню, как однажды, в классе происходили любимые священником схоластические рассуждения на тему о значении для человечества Богородицы; каждым опрашиваемым давались надуманные бессодержательные ответы, своей внешней набожностью вполне удовлетворявшие священника; взгляд его упал на К., ему стало неловко не спросить и его: «скажите Вы, что думаете?» К. ленивой скороговоркой успел проговорить только «Прсвятая Богородица», священник не выдержал его тона и злобно прошептал «садитесь», перейдя к другому ученику. И действительно, «Пресвятая Богородица» и К., ... это было несовместимо. От природы К. был умен, достаточно читал и был прекрасный товарищ, по-своему честный, во всяком случае, честнее тех, кто лицемерил; он открыто, не скрывая, использовал свои взгляды об относительной ценности честности. Не разделяя циничной идеологии К., наш кружок любил его за оригинальность и как тоже начало некоего протеста против гимнастических устоев. Я почти всю жизнь одновременно, то в Петербурге, то в Киеве, встречался с К. Он, подобно Чичикову, начал службу в таможенном ведомстве, а затем почему-то {перешел} на столь противоречившее его натуре судебное ведомство, разбогател посредством брака, жил широко и впоследствии разорился, впад в совсем уже какое-то болезненное пьянство. Принципиальная его аморальность его жестоко его покарала. В «борьбе за существование» не все дозволено — показал своей жизнью К. А между тем я помню, как в наше безвременье К. и несколько юношей однородного типа восхищались Полем Астье, в действительно образцовом исполнении Киевского артиста Неделина, и считали правильным его конец от руки врага: «Поль Астье, вы сейчас безоружны, а потому я вас убиваю», Мораль из пьесы Доде извлекалась такая: «если не хочешь быть убитым, то будь всегда вооружен» К счастью, как я говорил, среди нас — гимназистов такая идеология исповедывалась незначительным меньшинством, но в ней уже были опасные признаки будущего разрушения России.

Как реакция на формализм и сухость гимназии, рано проявилась во мне и мои друзьях страстная любовь к водному спорту. Театрам, вообще искусству, а также к различным приключениям, романам и т. п.

Дача бабушки под Киевом, близ Китаевского монастыря, была расположена у Днепра; это одна из живописнейших местностей бывшего дворца Андрея Боголюбского, на холмах, между которыми два красивых, обрамленных вербами, пруда; с одного из холмов открывается очаровательная панорама на долину Днепра. Особенно памятны мне лунные ночи Китае-

ва: белая колокольня монастыря, белый воск, блестящий под лучами луны на нарах завода, куранты колокольных часов, удары ночного сторожа в деревянную колотушку, тополя и окрестный лес — мощные старые дубы. Теперь все это изменилось: вместо векового леса — ограды, холмы тоже обезлесены, один пруд высох, другой лишен его главной красоты — аллеи из верб, но все-таки Китаев и сейчас один из поэтичнейших уголков под Киевом.

С Китаевом после продажи Гладышева, связана вся моя почти полувековая жизнь. Уже будучи на службе в Петербурге, я никогда не порывал связи с родным углом. Здесь именно развивалась моя страсть к водному спорту; в младшем возрасте плавание и лодка заполняли летом почти все мои досуги. Спорт был соединен с весьма веселыми приключениями, пополнял нашу компанию оригинальными типами, которые чаще всего встречаются среди любителей природы, приучал к ловкости и хладнокровию в моменты опасности, что мне весьма пригодились впоследствии при моих странствиях по Приамурью. Гимназические власти не поощряли в то время спорта, а потому в нем для нас заключался еще и элемент приятного риска, соединенный со стремлением к запретному.

В старшие годы к спорту присоединялись различные виды искусства, молодые философские споры и романтические увлечения, более юмористического, чем глубокого свойства, скорее в духе литературных образов, чем реальных искренних переживания, но все-таки не лишённые красоты и поэзии.

Наша дружеская компания жила наиболее сплоченно и почти ежедневно собиралась именно во время летних каникул, хотя, конечно, не теряла взаимной связи и зимой. В ней были представители и вокально-музыкального искусства, начиная от дилетантов-свистунов и кончая будущими профессиональными артистами /известный баритон Бочаров/, и представители живописи, и юноши большой ученой начитанности.

Хотя и бессистемно, но гораздо живее, чем на школьной скамье приобретались путем взаимного общения, новые знания.

Особенно памятны и дорого мне талантливые Ковалевские.

Старший сын академика живописи П.О. Ковалевского — Коля был весьма одаренным художником. У отца его всегда, даже при материальных затруднениях, было две, редко одна, лошади, которых он обожал, берег до того, что, напр., в Петербурге вел лошадь под уздцы с Васильевского острова /от Академии Художеств/ до аллей Петровского острова, чтобы не ездить по мостовой, и, только пройдя пешком версты три-пять, садился на лошадь. Я с братом часто сопровождал П.О. на этюды, и это давало нам большое наслаждение. Писание этюдов сопровождалось философствованиями П.О. на различные (Л. 45) житейские темы, с цитатами из прямо болезненно любимых им «Войны и мира» и «Анны Карениной». Мы горячо любили П.О. за его снисходительное отношение к нам, к нашим юношеским выходкам и за то, что он видел в нас не мальчишек, а почти товарищей, по крайней мере, в области любви к природе и литературе. Музыку П.О. не понимал и даже относился к ней, а, в особенности, к театру, как-то враждебно; он любил добродушно-насмешливо, когда мы увлечемся оперными

воспоминаниями, цитировать: «есть престранное создание, пресмешной оригинал; есть Господне наказание — под названием театрал». Произносил он эти строки с большим пафосом. Один раз только, помню, я, он похвалил артиста, а именно Писарева /трагика Александринского театра/, когда у кого-то из знакомых прослушал действительно необыкновенное по красоте чтение им баллад А. Толстого / «Веселый месяц май» /.

Картин своих до выставки П.О. никому не показывал, но смотреть на писание им этюдов разрешал; то, что ему было особенно дорого, что он не предназначал для продажи, увидеть было весьма трудно и, во всяком случае, удавалось только без его ведома. Лучшее, излюбленное им, написанное не для продажи — это были сепии — иллюстрации к «Войне и миру» и «Казакам» Льва Толстого. Особенно резко остались у меня на памяти действительно с выдающимся мастерством и любовью сделанные «Кутузов на барабане ест курицу» и «Пьер на постоялом дворе». Кутузов и Пьер были кумирами П.О. Эта серия сепий, представляющая полную иллюстрацию к названным произведениям Толстого, после смерти П.О. в 1903 году, была продана его вдовой издателю «Нивы» Марксу и за смертью последнего осталась неизданной. Это большая, без сомнения, потеря для искусства.

Сын О.П. Коля, ещё не прошедший никакой серьезной школы, обнаруживал весьма крупные способности, а этюды его — сочностью и колоритностью превосходили даже отцовские. Несколько его картин уже имели большой успех на Киевской выставке. Жил Коля в маленькой беленной комнате (Л. 46) мезонина нашей дачи; с балкона ее открывается дивный вид на Днепр, блестящей лентой вьющийся среди зелени и песков до далеко синеющих на горизонте гор. Этот вид был весьма ярко в нескольких полотках написан Колей, а все стены мезонина были покрыты остроумными карикатурами на нашу компанию. (Коля был легкомысленный, увлекающийся юноша с очень добрым сердцем. В Китаеве он влюбился и лет девятнадцати женился на молоденькой холодно-кокетливой Киевлянке. Брак оказался неудачным, жена неожиданно бросила Колю, он переехал в Казань, тосковал там сильно и застрелился на глазах брата — Володи.)

Брат его Володя являлся ученым философом нашей компании, и мы все очень гордились его начитанностью, которая действительно была велика, по сравнению с его возрастом; предполагалось, что он, по стопам своего дяди Николая Иосифовича /известного физиолога/ и деда — знаменитого ориентолога, посвятит себя ученой деятельности. В действительности из него вышел очень хороший доктор, увлекающийся после Японской войны военно-морской службой: за участие в прорыве из Порт-Артура он получил солдатский Георгиевский крест /он пошел на войну добровольцем-врачом/. Любовь к военной обстановке и, в частности, к флоту проснулась в нем внезапно и не могла быть совершенно предсказана по свойствам его застенчивой, склонной к кабинетным занятиям, натуры. Сказалась, очевидно, наследственность, т. к. отец его избрал батальную живопись не случайно, а в силу действительного тяготения к военному быту. Он участвовал в русско-турецкой компании 1878 года и сохранил на всю жизнь самые живые, часто дружеские, отношения с некоторыми героями этой

войны; в частности, очень был привязан к Великому Князю Владимиру Александровичу, несмотря на странное охлаждение последнего к нему из-за следующего пустяка: П.О. изобразил на полотне один случай с Великим Князем во время войны, когда он со свитой, в которой находился и автор картины, по рассеянности въехал в полосу артиллерийского; снаряд разорвался в нескольких шагах от лошади Великого Князя, которая шарахнулась в сторону. Как строгий реалист, П.О. запечатлел на картине с полной правдивой точностью всю обстановку, и в своей позе Великий Князь усмотрел намек на его трусость; наступило охлаждение, прошедшее при встрече их уже пожилыми людьми в Петербурге; Великий Князь и П.О. расцеловались со слезами на глазах, и первый сказал печально: «как Вы постарели», а второй, не считаясь с придворным этикетом, ответил: «да и Вы, Ваше Императорское Высочество, не помолодели за это время». Фатальная картина, на которой были сделаны великолепно портреты всех участников упомянутого случая и холмистый пейзаж Болгарии, была подарена Ковалевским его другу — генералу А.И. Тальма, потомку знаменитого французского трагика и талантливому поэту-дилетанту. Особенно дружен был П.О. с помощником генерал-инспектора кавалерии А.П. Струковым, лихим кавалеристом, с которым сблизжала художника страстная любовь обоих к лошадям. По просьбе Струкова Ковалевский написал несколько портретов последнего Германского Императора Вильгема в разнообразных позах на лошади; особенно эффектен был портрет Императора на лошади, берущей барьер.

Военные друзья П.О. были близки и его сыну, а это тоже несомненно способствовало тяготению его к военной службе. Во время Европейской войны Володя был уже флагманским врачом Балтийского флота, при большевиках же стал во главе организации, облегчавшей кадровым офицерам проезд в северную армию; вел дело смело и поплатился за него жизнью.

Зимнее гимназическое время посвящалось нами, главным образом, театру, который оказал такое крупное влияние на меня и моих друзей особенно в отношении укрепления любви ко всему национальному, что я не могу, вспоминая свои юные годы, не остановиться несколько подробнее на этой стороне моей жизни, даже под опасением заслужить упрек в нарушении основного плана моих записок.

В первый раз в жизни взят я был в театр лет десяти, будучи еще в пансионе. Давали «Демона»; состав исполнителей я помню до сих пор: Демон — Тартаков /тогда начинающий, но уже прославленный на юге России баритон/, Тамара — Зарудная /красивое сопрано, впоследствии супруга композитора Ипполитова-Иванова/ и Синодал — любимец Киевской публики тенор Ряднов. Мальчиком, как я упоминал уже, музыки я не постигал, и от «Демона» у меня не осталось в памяти ни одного мотива; впечатление произвела, главным образом, сцена нападения на Синодала и его смерти. И последующие редкие посещения мною оперы в младших классах гимназии не занимали меня совершенно с музыкальной стороны, но, главным образом, давали какое-то настроение красивого фантастического страха который овладевал мною с момента приступа к настройке оркестра; разнообразные дикие по

бессвязности звуки различных строящихся инструментов в то время в сущности были для меня привлекательнее всей оперной музыки; в них, в этих звуках, я как-то предчувствовал страх предстоящего действия. После «Гугенот» и «Джоконды» я не мог долго спать, а когда заснул, видел страшные сны. Слушать оперу я научился только лет семнадцати; началось это как-то внезапно, сначала с пения, потом с оркестра; у меня после «Миньон» осталось в голове несколько мелодичных арий этой оперы, и с этого вечера я вдруг начал слышать в опере то, чего раньше не воспринимал. Дальнейшему развитию слуха способствовало, вероятно, то, что я много разбирал на рояли из прослушанных мною опер.

Городской оперный театр, прежний маленький, сгоревший в 1894 году, кажется, находился, когда я был в младших классах гимназии, в аренде у Савина, первого мужа знаменитой артистки; антрепренер этот был известен частыми своими прогарами; после одного неудачного сезона, он был даже заключен в тюрьму.

Поездка наша в оперу была каким-то торжественным событием, с приготовлениями, как на пикник: заготавливались закуски, приобретались конфеты, заранее нанимались извозчики, отправлялись мы в театр за два-полтора часа до начала спектакля, долго сидели в ложе полутемного театра, наблюдали, как зажигались свечи у лож и на центральной люстре / тогда, кажется, даже газового освещения не было /, слушали с волнением звонки, которых обычно бывало более трех, представление начиналось не в 7 ½ ч. вечера, как объявлялось в афишах, а обычно с опозданием на час и более и кончалось оно иногда только к двум часам ночи /напр., пять актов «Гугенот»/. Каждый год, в начале сезона, объявлялось, что готовятся к постановке «Руслан и Людмила» и «Рогнеда». Представление их откладывалось «в виду сложности постановки», до следующего сезона. Это обстоятельство и отзывы бабушки об этих операх заставляли меня с братом заранее относиться к ним с особым уважением.

В труппе Савина было несколько хороших голосов, но, по-видимому, дело шло на различных гастролях; оркестр был маленький, человек в сорок; хор отвратительный, в стиле «Вампуки», балет еще хуже — эта часть провинциальной оперы, всегда, впрочем, возбуждала во мне отвращение, и я полюбил балет только тогда, когда переехал в Петербург, и то не в первые годы моей жизни там — настолько я был предубежден против балета.

Из артистов оперы того времени, кроме И.В. Тартакова и Ржднова [так в тексте], могу отметить начинавшую свою сценическую карьеру М.М. Лубковскую, имевшую небольшой приятный голос и очень большие драматические способности, при красивой изящной наружности; лирического тенора Супруненко; меццо-сопрано Смирнову, знаменитую Киевскую Кармен; очаровательное по тембру, но безжизненное колоратурное сопрано Силину; драматическое сопрано Кончу и контральто Бичурину.

Репертуар был, конечно, самый провинциальный, сборный; русские оперы шли мало, если не считать «Онегина» и «Демона».

Драматического театра в восьмидесятых годах в Киеве не было; на Крещатик, где-то во дворе, в тускло освещенном узком зале, давало пред-

ставление Киевское драматическое общество. Странно, что несмотря на большую, казалось бы, доступность моему пониманию комедийного искусства, я им увлекался гораздо менее, чем оперой; комедия была лишена для меня романтического страха. Но все-таки, несмотря на весьма скромные средства, Драматическое Общество оставалось в моих глазах воспоминанием, как источник тоже большого наслаждения; участники его были такие артисты, как М. Петипа, М. Потоцкая, тогда еще почти девочка и др. Ответственные роли играл тогда талантливый для вторых ролей артист Осмоловский, нашедший свое настоящее амплуа второго комика лишь в серьезной труппе Н.Н. Соловцова; лучшего камердинера в «Плодах Просвещения» я, например, не видел. Несколько скромна была обстановка тогдашнего драматического театра можно судить по тому, что иногда, в случае болезни артиста, его заменял капельмейстер оркестра, а последний — это было нечто комическое; музыканты-еврейчики, когда становилось очень жарко, снимали сапоги. Переворот в театральной жизни Киева произошел, когда я был уже в старших классах гимназии, — в опере, благодаря антрепризе И.Прянишникова, а в области русской драмы — благодаря открытию постоянного драматического театра Н.Н. Соловцовым, именем которого до настоящего времени называется Киевский Драматический театр, в новом здании на Николаевской площади /ранее труппа Соловцова играла в скромном здании театра Бергонье на Фундуклеевской ул., бывшем цирке/.

Этот период совпал со страстным моим увлечением театром, преимущественно оперой, которую я посещал чуть ли не ежедневно, а на праздники — два раза в день.

Прянишников, как режиссер, оживил оперные постановки, заставил жить на сцене хор, дал ряд постановок забытых Киевом или совершенно неизвестных Киевлянам русских опер: Руслан и Людмила, Рогнеда, Каменный Гость /Даргомыжского/, Сын Мандарина /Кюи/, Маккавей /Рубинштейна/ и др.; за это же время состоялись первые постановки Князя Игоря /Бородина/ и Пиковой Дамы /Чайковского/. Я видел в стенах (Л.51) нашего старого театра П.И. Чайковского, дирижировавшего увертюрой 1812 год», и А.Г. Рубинштейна, присутствовавшего при представлении оперы «Маккавей», в которой ...И.В. Тартаков /в роли Иуды/ достигал пределов музыкально-художественного творчества. Подъем, с которым был принят общий кумир П.И. Чайковский, как на симфоническом концерте так и при первой постановке «Пиковой Дамы» /я, к сожалению, не был/, не может быть забыт. Помню, что при каждом появлении его на эстраде, весь театр невольно почтительно поднимался /как в партере, так и в ложах/; казалось, сидеть, когда «он» стоит, совершенно не возможно. «Пиковая Дама» сразу, с первого же представления, на котором я был, произвела на меня самое сильное впечатление из всего слышанного за гимназическое время; я не знаю более выдержанной в романтическом стиле оперы, как по музыке, так и по либретто, и люблю эту оперу до сих пор, несмотря на ее заигранность. Скромный, мечтательный «Евгения Онегин» делался моим любимцем постепенно. Обставлена была тогда эта опера лучшими

силами труппы Прянишникова; тенор М.Е. Медведев исполнением роли Германа приобрел громадную популярность на юге России; это был незаурядный артист, с очень приятного тембра баритональным тенором, к сожалению, неправильно, по видимому, поставленным, без верхов и манерой как-то вытягивать ноты с напряженным унынием еврейского кантора; в ролях Лизы чередовались изящная М.М. Лубковская, великолепная во всех речитативах и погибавшая в высокой арии «у канавки», и холодная, но с мощным голосом Соловьева-Мацулевич, князя Елецкого безупречно пел И.В. Тартаков, не любивший, однако, этой второстепенной для него партии и позволявший себе иногда пропускать единственную свою арию; Томский — мощный бас Антоновский; графиня — весьма стильная по игре и голосу любимица Киевской публики Смирнова, и Полина /она же пастушек/ Нечаева, с молодым голосом, некрасивая, но пользовавшаяся горячими симпатиями гимназистов.

Из других опер наиболее любимой мною была и осталась «Аида»; опять-таки потому, что я чувствую выдержанность ее стиля; как «Пиковая Дама» отвечает, по крайней мере, лично моему, представлению о романтике в опере, так «Аида» для меня музыкальное олицетворение Египта, пусть италианизированного, условного, но все-таки Египта; и когда жрец поет «храм Изиды перед нами», и когда блесит, искрится в музыке Нил /в увертюре к пятой картине/, и когда идут жрецы судить Радамеса, и когда траурная Амнерис спускается на колени над его могилой, а Радамес кричит «камня гробового не сдвинуть рукой» и т. д. — все это для меня было и остается «моим» воображаемым Египтом. Странно, что в первый раз «Аида» мне настолько не понравилась, что я решил не слушать больше этой оперы; причина, вероятно, в плохом составе исполнителей; Медведев, например, не имея верхних нот, совершенно искажал дивную по красоте выходную арию «Милая Аида». Появление в роли Радамеса могучего тенора итальянской школы А.П. Кошица и в роли Аиды незаурядного драматического сопрано Астафьевой сделало эту оперу неузнаваемой по сравнению с прежними постановками. Кошиц был полным контрастом Медведева: насколько первый обладал широкой, мощной кантиленой и был великолепен в главных ариях Радамеса, Рауля, Елезара в Жидовке, Пророка и проч., относясь с полным иногда комичным равнодушием к речитативным подробностям, а в игре ограничиваясь банальными оперными жестами, которых, как он заявлял с гордостью, у него было до 150, настолько Медведев был сравнительно слаб в пении и красив в речитативе и драматическом действии; поэтому роль Германа в Пиковой Даме и была его коронной, а у Кошица самой слабой. Бедный Кошиц безумно любивший пение, трагически кончил свою жизнь /зарезался/, когда сорвал голос в «Кольце Нибелунгов», а Медведев, потеряв голос скромно ... и печально проживал одно время зимой и летом в Китаеве. Как-то грустно было видеть, как будто бы вспоминалась своя собственная невозвратная юность, его согбенную фигуру на тарантасике (Л. 53), когда он под вечер иногда возвращался из города на свою зимнюю дачу и не верилось, что это бывший кумир киевских меломанов, который так был красив вреди блеска

и цветов оперного театра. Смотря на него, я почему-то всегда вспоминал Рудина в старости; Медведев по натуре своей не был еврей; у него не было ни расчетливости, ни скромности в образе жизни, ни семейственности, и он кончил, как кончает большинство безалаберных русских артистов. Благоразумный И.В. Тартаков, ученик итальянца Эверарди /который очень им гордился, говоря, что он воскрес в Тартакове/, знал предел, за которым начинается богема и благополучно дотянул до глубокой старости, чаруя своим голосом даже в 60-летнем возрасте и заняв прочное место режиссера Императорского Мариинского театра в Петербурге.

Из новых постановок Прянишникова я был еще особенно восхищен «Каменным Гостем» Даргомыжского — этой гениальной мелодекламацией, в которой идеально сочетался волшебный стих Пушкина с яркой музыкой нашего великого композитора. К сожалению, опера эта прошла только два, три; тогдашняя публика не могла еще жить без арий, речитатив ей казался скучен, а больше нигде мне не пришлось слышать этого шедевра. Медведев /Дон-Жуан/, Тартаков /Дон-Карлос/ и Соловьва-Мацулевич /Донна-Анна/ — в каждой фразе, в каждой из фраз были такими, как должен был воображать свои героев Пушкин. До сих пор я слышу насмешливо усталую фразу Медведева-Дон-Жуана о том, что испанки нравились ему глазами голубыми, но потом надоели; до сих пор помню, как картину какого-нибудь знаменитого художника, печальную фигуру Дон-Карлоса — Тартакова, предсказывающего Лауре печальную одинокую старость, и ее поэтично легкомысленный ответ у залитого луной балкона: «в Париже сейчас холодно, дождь, а у нас, посмотри... какое дело нам до Парижа». Должен, однако, сказать, что все-таки ни одна новая вещь не захватывала меня так всего, не возносилась на такие высоты эстетического самозабвения, как услышанная мною впервые уже на первом курсе университета (Л. 54) «Снегурочка» Римского-Корсакова, а по переезде в Петербург его же «Садко», впервые поставленный в Большом зале консерватории московской труппой Мамонтова. «Снегурочку» Киевляне тогда мало поняли и оценили, но небольшая группа слушателей, в том числе и я, несомненно, пережили зимой весну и на несколько часов гениальной музыкой были унесены из реальной жизни в область красивейшей русской сказки.

Что касается старой итальянской оперы, то мое увлечение ею, как это ни странно началось позже, чем новой, в частности русской; обыкновенно происходит наоборот; музыкальный вкус развивается от примитива к более сложному, а начавший поклоняться Римскому, Бородину или Вагнеру, Серову и т. д. отвергает культ старого Верди совершенно, он его даже ненавидит или, по крайней мере, делает вид, что ненавидит.

Увлечение мое итальянцами началось с появления в Киеве хорошей гастрольной труппы, украшением которой была, вышедшая в Киеве замуж за князя Ржевусского — Олимпия Боронат, знаменитое колоратурное сопрано, которую даже моя бабушка, благоговевшая перед памятью итальянских певцов времен Императора Николая I, весьма одобряла. Впоследствии в Петербурге я восхищался старым королем теноров Мазини и начинавшим тогда свой мировой успех тенором Карузо. Чем объяснять такой мой

эклектизм в музыке? Врожденным безвкусием, несерьезной музыкальной подготовкой, влиянием восторгов бабушки, с которой я, впрочем, в юности горячо и даже грубо спорил, называя «Травиату» шарманочной пошлостью, «брыньканьем» и т. д.? И теперь ведь никогда не слушаю эту старую заезженную оперу, в которой даже веселые мотивы бала содержат в себе уж непонятные намеки на будущие страдания, не слушаю равнодушно. Мое объяснение, не знаю — правильно оно или нет, я другого никогда не мог подыскать, таково: опера старых мелодий, например, Травиата, современная, например, Борис Годунов — Мусоргского только о названии, совершенно, по-моему мнению, ошибочному, (Л. 55) относятся к одной отрасли искусства; одно — это песня, другое — музыкальная драма; если мерку реальной правды в искусстве, так ярко выявленную в Борисе, Хованщине, Садко и проч., применять к «Травиате», то последняя, действительно, окажется ничтожной; если любишь пение, красивой пение, то не можешь не наслаждаться итальянской мелодией, при соответственных, конечно, исполнителях, и мне всегда казалось, что Вагнерианец какой-нибудь лицемерит, когда злобно отрицает всякую «итальянщину», как лицемерят теперь, например, придирчивые французские критики, утверждая, что «Снегурочка» устарела, ибо слишком примитивно-мелодична, что «Руслан» представляет только исторический интерес и т. д.; как будто бы «историчность» есть сама по себе порок, как будто бы красота мелодий не бессмертна. Я часто ловил строгих партийных критиков ... как они, пусть не в театре, хотя бы даже в ресторане, а все-таки наслаждались пением, тем самым пением, про которое они в рецензиях своих шаблонно повторяли: «для какой надобности потребовалось антрепризе извлекать из архивов старушку Травиату и т. д. Никогда не верил я в искренность такого исступленного пропагандиста новой русской музыки — «могучей кучки», как покойный Стасов, когда он предсказывал скорую кончину «Евгения Онегина», называл «Фауста» музыкой для портных и сапожников. Он говорил все это потому, что богами его были Римский, Бородин, Мусоргский и др., говорил в ослепленном фанатизме и в силу благородного побуждения заставить общество признать гениальность «кучки», но ... но почему могли ему не нравиться, ну хотя бы письмо Татьяны, вальс Гуно — сомнительно, ибо Стасов не мог ведь не любить красоты? И так, я никогда не стыдился наслаждаться всякой красивой мелодией, хотя и имел общих богов со Стасовым.

Н.Н. Соловцов сделал для Киева гораздо, конечно, больше, чем Прянишников, так как Киевская опера и в прошлом ее славилась хорошими певцами, обычно через Киевскую сцену, проходившими в Императорские столичные театры, драматического же театра Киев до Соловцова в сущности не имел. Труппа Соловцова появилась сначала в качестве гастрольной, в весеннем сезоне, кажется, 1890 года. Такая скучная, без действий пьеса, как «Раздел» Писемского, где наследники в течение трех актов ссорятся между собою, и та явилась для нас по тонкой хедожеественности исполнения, целым откровением.

Украшением труппы был знаменитый комик В.Н. Давыдов. Затем со следующего года театр Соловцова утвердился в Киеве. Имена таких круп-

ных артистов, как Рошин-Инсаров, Неделин, Киселевский, Чужбинов, Гамма-Мещерская, Зверева и др., сделались родными для Киева. В своих постановках, в смысле художественного ансамбля, Соловцов достигал иногда такого совершенства, которое впоследствии, через десятки лет только, было дано Московским Художественным театром, но при этом в труппе Соловцова было больше, чем в Московском театре, яркой индивидуальной талантливости, при громадном разнообразном репертуаре, не дававшем возможности иссушать талант однообразием и заученностью. «Царь Борис», например, был поставлен с точки зрения устремлений даже Московского Художественного театра, безукоризненно, а громадный трагический талант Рошина-Инсарова, несмотря на его неблагодарный, слегка сиплый голос, сделал в моих глазах заглавную роль недоступной другим артистам: Борис и Рошин стали для меня синонимами. Не мог я также представить себе лучшего исполнения «Поля Астье», чем Неделинское, не видел и лучшего исполнения веселой комедии «В горах Кавказа», чем Соловцовым, Неделиным, Гаммой и Чужбиным. Сам Соловцов был замечательный артист на характерные роли /великолепен, напр., был в роли мужика в «Плодах Просвещения»/, но любил почему-то иногда впадать в трагизм; играл Гамлета и тогда был слабват. Популярностью в Киеве Соловцов пользовался такую, как в Петербурге дядя Костя — Варламов; появление его на эстраде, на различных благотворительных вечерах с неизменным «Индюком» и «Поросенком», вызывало смех и бурные приветствия всего зала еще до начала чтения. Дисциплина в труппе была образцовая; Соловцова боялись и уважали. Осмоловский, с которым одно время был дружен мой брат, в период склонности его к богеме, рассказывал о «Николае Николаевиче» различные истории всегда каким-то почтительным шепотом, а актер на вторые роли Кнорье прямо с ужасом /но всегда с любовью/ вспоминал, как обрушился на него Соловцов, когда узнал, что летом где-то в уездном городе, Кнорье изобразил из себя гастролера и сыграл, кажется, Короля Лира. С Осмоловским Соловцов в конце концов поступил очень жестоко: на гастролях в Одессе, Осмоловский, участвуя в какой-то мелкой роли в «Царе Борисе», сказал «Царевна Ксевна» вместо «Ксения»; Соловцов его разнес; на следующем представлении Осмоловский, волнуясь, чтобы не спутаться, твердил перед выходом про себя «Царевна Ксения, Царевна Ксения», вышел и снова ляпнул «Царевна Ксевна»; Соловцов пригрозил, что если ещё раз это повторится, Осмоловский будет выгнан из труппы; перед выходом на третьем представлении «Бориса» Осмоловский, по его словам, прочел мысленно даже молитву и, перекрестясь, снова провозгласил «Царевна Ксевна», и это было последним днем его участия в труппе Соловцова. Дальнейшей судьбы этого славного артиста я не знаю. Помню, что его любил и Куприн, тогда ещё мало известный газетный сотрудник, имевший склонность к скромным кабачкам, где можно было наблюдать второстепенных, но характерных служителей всякого рода искусства.

Тогдашняя пресса нередко поносила Соловцова, упрекая его и в хаотичной неразборчивости репертуара, как будто бы провинциальный театр мог делать сборы при одном строго классическом репертуаре, и в склон-

ности к рекламе /Соловцов делал, например, скидку на билеты для подписчиков издававшейся им газеты «Жизнь и искусство», сам назвал новый драматический театр по собственной фамилии и т. п./, а без рекламы тогда в Киеве трудно было рассчитывать на материальный успех; ведь Соловцов должен был завоевать равнодушную к русской драме Киевскую публику. Только смерть Соловцова в конце, кажется, девяностых годов, объединила всех в общем горе, не исключая и газетных критиков; тогда вспомнили и общедоступные спектакли, и дешевые билеты (Л. 58) для учащихся, и массу благотворительных вечеров, устроенных покойным, а, главное, ту высоту художественного совершенства, которого достигал театр под режиссерством Соловцова. Похороны его на Аскольдовой могиле в Киеве были днем национального траура, почти весь интеллигентный Киев провожал покойного артиста к месту последнего его успокоения на живописнейшей Приднепровской горе. Также трогательно величественны были и похороны главных сотрудников Соловцова: убитого из ревности дектатором Маловым Рощина-Инсарова, Киселевского, Чужбинова, и, наконец, последнего из могижан, одинокого среди молодых артистов театра «Соловцова», Неделина.

Как Н.Н. Соловцов умел внушать окружающим его какое-то благоговейное отношение к искусству, можно судить по тому смущению, с которым Осмоловский выслушивал шуточные напоминания моего брата, что он его помнит в такой-то и в такой-то первой роли на сцене Драматического Общества; «оставь, оставь, не напоминай, конфузливо говорил Осмоловский, «я настоящие мои роли играю только у Николая Николаевича», чаще же Осмоловский совершенно отрицал, что он когда-либо играл крупные роли. Быть «капельдинером» в «Плодах Просвещения» на Соловцовской сцене было почетнее, в глазах истинного артиста, чем первым любовником в Старом Киевском театре; искусство было дороже личного самолюбия; таков был взгляд Н.Н. Соловцова, так чувствовали и члены его труппы. Зная об этом, я не удивлялся, впоследствии, словам И.В. Тартакова, что сколько бы раз он ни пел Демона, Онегина и проч., он без волнения выйти на сцену никогда не будет в состоянии, не удивлялся и описанию первых провинциальных гастролей прославленного комика Варламова, который, по рассказам его неизменной сценической сопутницы знаменитой Стрельской /комической старухи/, так волновался при каждом выходе в новом городе, что еле мог перекреститься дрожащими руками, а раз она боялась даже, что он не удержит в руках шляпы. Эти волнения — признак почтения перед искусством, признак действительной артистичности, боящейся случайно чем-нибудь нарушить, так сказать, благолепие совершаемого (Л. 59) священнодействия. И спокойная наглость многих пришедших на смену старым богам театра, особенно многочисленных еврейского происхождения, исполнителей означает только самомнение, а не подлинную талантливость. Но это — так вскользь.

Гимназические наши увлечения театром вызвали сильные преследования со стороны начальства: запрещалось посещение галереи, которая и была только доступна нам по цене при частом посещении театра /

билет на галерею стоил 40 коп., а в последнем ряду партера 1 р. 20 коп./, в пансионе же разрешалось посещение лож не выше бельэтажа /не знаю чем объяснить подобный снобизм/, наконец, в последние годы моего гимназического пребывания было установлено требование на каждое посещение театра получать разрешение инспектора. Я никогда не мог понять такого отношения к театру, так как гораздо хуже было времяпровождение отдельных «взрослых» гимназистов, увлекающихся картами, что не могло быть проконтролировано гимназическими воспитателями. Когда я беседовал на эту тему с добрейшим нашим инспектором А.В. Старковым, указывая ему на то, что я понял бы театральные запреты лишь в тех случаях, когда увлечение театром отрицательно отражается на успехах гимназиста, А.В. старался мне доказать, что частое посещение театра может вызвать пресыщение им еще на гимназической скамье и, когда мы вырастем, нам театр уже ничего не будет давать, благоразумие же, мол, требует растянуть это удовольствие на всю жизнь. Такая философия в отношении нашей компании, по крайней мере, не оправдалась: мы всю жизнь остались верны нашей любви к театру и музыке, любви, воспитанной именно в юные гимназические годы Прянишниковым и Соловцовым; поэтому-то, имена их для нас навсегда остались дорогими, дороже гораздо фамилий всех прочих наших педагогов вместе взятых, ибо не они развили в нас чувство здорового национализма и понимание красоты, а Глинка, Римский, Чайковский, Мусоргский и т. д., и т. п. Как ни странно, но русским я почувствовал себя больше всего и прежде всего в оперном театре. (Л. 60) Я отлично помню, что первые мои впечатления от Руслана и Людмилы, Рогнеды и Снегурочки были этапами по пути укрепления во мне сознательной любви к родине, а в частности к Киеву /»я Киева гордость, я дочь Святозара»/.

Запрещение галереи заставляло нас переодеваться в штатское платье, иногда даже гримироваться; помню, как мой сожитель и друг Миша Филипченко, имевший золотисто-рыжие волосы выкрасился раз черным пахучим фиксажем; соседи страшно волновались по поводу невыносимого резкого запаха, подозревая, что это какая-нибудь дама неистово надушилась дешевыми духами; затем, под влиянием ужасающей обычно жары на галерее, М.Ф. начал таять и лицо его покрылось черными подтеками. Брат мой однажды так был неузнаваем в еврейском костюмчике и фуражке, что когда меня шутя, с ним познакомили, я серьезно назвал свою фамилию.

Обычно мы удачно в темноте галереи скрывались от дежуривших в театре помощников классных наставников и педелей, но иногда приходилось, при ненадежности положения, брать места в партере и тогда мы чувствовали себя какими-то бесправными, заброшенными. Дело в том, что на галерее все были знакомы, там происходила живая интересная критика исполнителей, там только можно было, не стесняясь, дикими криками выражать свои восторги или свистом порицать плохое исполнение, наконец, там был центр «партийной борьбы». С галереи мы быстро устремлялись к выходу из-за кулис или к квартирам особо любимых артистов, где еще устраивали последние оvationи. Вот эта борьба «партий» /процветавшая специально в оперном театре/ и уличные оvationонные путешествия и

представляли из себя наибольшую опасность в смысле возможности кары со стороны гимназических властей.

Как во время наших отцов, Киевский оперный театр был раздираем распрями сторонников Павловской с одной стороны и Кадминой с другой, так в мое гимназическое время партии группировались вокруг двух имен: Лубковской и Силиной, хотя репертуар их очень редко совпадал /первая пела, главным образом, лирические, вторая — колоратурные партии/; остальные артисты, т. е. симпатии к ним галереи, распределялись между этими двумя именами, напр., Лубковисты поддерживали всегда меццо-сопрано Нечаеву, а Силинисты — Смирнову и т. д., вне партии, т. е. общими любимцами были Тартаков и Антоновский, ибо серьезных конкурентов у них не было на Киевской сцене, они были, так сказать, вне конкурса. Но, впоследствии, когда Киевская опера имела одновременно двух крупных теноров: еврея Медведева и русского Кошица, партийная борьба ... приобрела неожиданно еще национальную окраску и достигла максимума своего обострения. Все Лубковисты, к которым принадлежала и моя компания, сделались яростными юдофобами. Евреи, гордясь наличием в опере двух таких действительно крупных сил, как Тартаков и Медведев, старались всячески умалить достоинство русских артистов, а о таких, которые не имели конкурентов, например, о Фигнере, распространяли ложные слухи, что они еврейского происхождения; даже при дебюте Шаляпина в частной опере Панаевского театра, мне пришлось слышать разговор, что вот, мол, появился замечательный еврей-бас. Я всегда любил моих товарищей-евреев за их искреннее увлечение искусством, но никогда не мог примириться с их каким-то шовинизмом в деле преувеличенного прославления «своих». И чем больше я наблюдал музыкально-артистическую жизнь России, тем более убеждался в гораздо более мощной талантливости и русских, особенно, великороссов, по сравнению с евреями. В самом деле достаточно отметить только тот факт, что консерватория и музыкальные училища переполнены евреями /в некоторых их до 90%/ , чтобы понять, как ничтожны результаты еврейского служения искусству: наряду с такими великими именами, как Глинка, Даргомыжский, Чайковский, Римский, Мусоргский, Бородин, Танеев, Глазунов, Рахманинов, Скрябин и т. д., и т. п. мы знаем в России одно еврейское имя, да и то относящееся к композитору в сущности второго разряда, — А. Рубинштейна; в области пения ни один еврей не поднялся до высоты Хохлова /кумира Москвы в восьмидесятых годах/, Шаляпина, Стравинского, Фигнера, Собинова и (Л. 62) и многих других. Любимец Киева И.В. Тартаков, при всей его талантливости, оскандалился и был освистан, когда вздумал в концерте спеть «Не плачь, дитя» после Хохлова, стараясь форсировать голос, чтобы хотя немного приблизиться к мощному голосу Хохлова. О драматических наших театрах нечего и говорить; из поименованной мною выше плеяды славных артистов Соловцовской эпохи был один только еврей — комик Чужбинов. Таких имен, как даже современные нам, Савина, Ермолова, Садовские, Давыдов, Варламов, Рошин-Инсаров, Сазонов, Дальский, Комиссаржевская и т. д., и т. д. евреи никогда в России не давали. То же, впрочем, и в литера-

туре, ибо Толстого и Мачтета едва ли кто-либо решится сравнивать. Наличие нескольких мировых еврейских имен в европейском искусстве и литературе не может, конечно, влиять на мой вывод относительно несоизмеримости русских и еврейских художественно-артистических задатков, тем более, что и Европа не знает евреев — создателей школ; Бетховена и Вагнера никому не придет в голову ставить на одну доску с Мейербером. Но при всем том у евреев, помимо действительной любви и глубокого понимания художественных красот, имеется большое преимущество перед русскими: это прилежание, настойчивость и бережное отношение к опущенным Богом способностям. При равных данных, русскому редко приходит в голову, редко хватает силы воли «специализироваться»; может быть это отчасти объясняется еще тем, что все виды искусства в России были бесправным евреям гораздо более доступны, чем другие виды заработков. Отсюда — переполнение евреями различных оркестров и трупп, в качестве средних исполнителей, количественное, а не качественное, преобладание еврейского искусства и кажущаяся с первого поверхностного взгляда их большая даровитость. Наша юная театральная компания инстинктивно поняла несправедливость в оценке русских и еврейских сил Киевской оперы, и с молодой горячностью принялась за борьбу. Нашим знаменем сделался тенор Кошица, а на почве борьбы его сторонников с Медведевской партией разыгрывались бурные скандалы на галерее, занимавшие (Л. 63) нас тем более, что они заключали в себе элемент опасности и риска. Я живо храню в своей памяти старого театрала подробности первого дебюта Кошица на Киевской сцене; этому, как всегда, предшествовали слухи о необычайной красоте нового тенора, каких-то громадных черных глазах, необыкновенных успехах его в Италии и т. д. Медведевисты — нервничали. Когда Кошиц-Радамес появился с жрецом, сразу, при первом их диалоге, почувствовалось разочарование в наших рядах и ликование вреди врагов; К. оказался с добродушным русским лицом и обыкновенными серыми глазами блондина; первые речитативы: «счастлив избранник» и т. д. он произнес без всякой экспрессии, к которой приучил нас Медведев, слегка даже в нос; но вот началась знаменитая ария «Милая Аида», и галерея замерла; казалось, что арию эту мы слышим в первый раз; такое мощное дыхание, такую чистую формулировку звука на высоких финальных нотах каждой фразы этой мечтательной арии, которых Медведев не пел, а как-то обрывал, показал — сразу же Кошиц, что даже «евреи» не удержались и покрыли громом аплодисментов заключительную фразу «венец тебе я дам». В дальнейшем исполнение было такое же неровное, то вызывая восторги театра /особенно выходная ария на берегу Нила «я вновь с тобой, моя Аида», объяснение с Амнерис, последний дуэт в склепе «прости земля»/, то давая минуты торжества еврейской партии, в особенности, когда Кошиц поймал «петуха» на словах «жрец великий, я пленник твой» или комично равнодушно произносил речитативные фразы «кто нас подслушал; сам Царь?» и т. п. И в следующих своих дебютах Кошиц отличался такую же неровностью исполнения. Вторая роль, которую он спел в Киеве, была партия Елеазара в «жидовке», высокого подъема и чувства

достигал он в знаменитой арии: «Рахиль, ты мне дана небесным Провидением», правдиво трагичен был в последующем объяснении с Кардиналом и тотчас же, в следующей партии, расхолаживал публику спокойнейшими вопросами о том, всех троих ли решено казнить, или только его с дочерью; на ответ «нет, двоих», он так добродушно произносил «я так и знал», что нельзя было не улыбнуться. Великолепен в вокальном отношении был Кошиц в Фаусте, особенно в 1-ой ... партии, где ария «привет тебе последний день» давала богатую пищу мощному мягкому тенору, но вместе с тем, когда настал момент возвращения Фаусту молодости, когда вместо старца появился юноша, мы увидели такую странную физиономию добродушного швейцара с белокурыми баками, что у некоторых даже вырвалось искренно: «Боже мой!» А тут ещё Тартаков-Мефистофель, впервые выступивший в этой басовой партии и давший художественный тип нешаблонного оперного черта, а хитрого, маленького, вертлявого, во всем черном, с рыжими волосами, искусителя. Его тонкая игра и отделка всех речитативов затеняли совершенно Фауста-Кошица. При таких условиях, борьба за Кошица не всегда была легка, но так как его соперник Медведев, побыв краткое время, без особого успеха на Императорских сценах, вернулся в Киев с преждевременно уже утомленным голосом, а Кошиц за это время сделался гораздо сценичнее, победа в конце концов осталась за нами. На прощальном «сборном» спектакле сезона Кошиц, принятый уже на Московскую Императорскую сцену, был предметом бурных оваций /выступал в роли Турриду в «Сельской чести»/, а Медведев, певший в трех последних картинах «Пиковой Дамы» был освистан. Растерянность еврействующих была искренне — печальной. Какие-то девушки — еврейки, желая смутить Володю Ковалевского и видя, что своими аплодисментами не заглушают его свиста, окружили его в ложе и кричали: «ну, ему хочется свистеть; а, не мешайте ему, пусть свистит, если он этого хочет»; К. не был уничтожен этим великодушием, достал ключ от своей комнаты и начал издавать звуки, мало уступавшие локомотивному свисту. Не поддается описанию, что сделалось с поклонницами Медведева; я думал, что они растерзают Ковалевского.

Припоминая такие весьма бурные спектакли — гастролы молодого московского тенора Клементьева, прославившегося впоследствии в созданной им роди Нерона в одноименной опере Рубинштейна. Выступление его в роли Германа, окончившееся полным его триумфом, окончательно вывело евреев из душевного равновесия и на галерее чуть не дошло до побища.

Подобные истории не проходили для нас безнаказанно; если не педеля, то полиция вылавливала нас, для чего-то мы отводились в участок, там опрашивались наши адреса и затем мы выпускались на свободу. Особенно бурно проходили бенефисы любимцев. Однажды, после бенефисного спектакля М.М. Лубовской, на мою долю выпало зажечь бенгальские огни у ее квартиры, для чего я взобрался на уличный фонарь; только я приступил к исполнению своих обязанностей, как был атакован гимназическими педелями, спрыгнул с фонаря и бросился бежать к квартире Лубковской; на пороге я был пойман за одну руку педелем, а за другую мужем М.М.

полковником Лубковским, которому и удалось втянуть меня в квартиру; я был счастлив, конечно, что попал к нашей любимице неожиданно в гости, но она чрезвычайно волновалась по поводу ожидавшей мен в гимназии кары; придуман был в конце концов такой план: на допросе я покажу, что М.М. моя тетка и что после спектакля я должен был у нее ужинать. На другой день я действительно был приглашен на допрос к нашему инспектору А.В. Старкову: «это безобразие, Вы позволяете себе», начал он медленно меня разносить; выслушав гневную речь добряка А.В., я спокойно и с достоинством объяснил, что я и Лубковские оскорблены поведением гимназической стражи, ибо я мирно шел к ней ужинать по окончании спектакля, а на меня набросились, тащили из квартиры. «Почему же Вы ужинаете у артисток, разве это подобает гимназисту?» На это я с гордостью отвечал, что Л. моя тетка и, вполне естественно, я был приглашен к ней после бенефисного спектакля. Инспектор, очевидно сам увлекающийся талантом Л., с большим оживлением начал меня расспрашивать о различных подробностях ее жизни: где она родилась, училась, дебютировала и т. п. Я гнал немилосердно и от наказания освободился. Л. была так внимательна, что на другой день приехала к моей матери справиться о моей судьбе.

Одно из самых бурных столкновений враждующих партий произошло на одном из бенефисов Нечаевой, певшей Амнерис в Аиде. Вызывающее поведение наших врагов на этом бенефисе внесло такое озлобление, что на одном из следующих очередных спектаклей произошла неожиданно, без всяких оснований, рукопашная схватка. Лидер «Силинистов», по прозвищу, за его мрачную наружность и бас, «Спарафучилло» лишился очков, а один студент влез в карету к Силиной, погрозил ей кулаком и крикнул вслед: «и тебе старуха достанется». Она мне об этом рассказывала ...по окончании сезона с неподдельным ужасом. Кстати о «Спарафучилло»; это был канцелярский чиновник местного суда П-ский, не пропускавший буквально ни одного оперного спектакля; в его одинокой и, вероятно, однообразной жизни мелкого чиновника опера, очевидно, была всем смыслом жизни; за 12 руб. в месяц он имел свой клуб, общество, эстетику. Прошло много, много лет, мои сверстники — юные герои галереи, уже лысые, некоторые важные, заседали в первых рядах партера /присяжные поверенные А.А. Кистяковский, А.А. Френкель — театральные поэт и С.Н. Горбнов, расстрелянный большевиками, прокурор С.И. Слепушкин и многие другие/. Я из любопытства поднялся к галерее; там новая молодежь, для которой фамилия Кошица, Тартакова, Лубковской и проч. мало говорили, и вдруг увидел «Спарафучилло»; я расспросил о нем и узнал, что это за всегдашней галереи. Он и не подозревал, конечно, каким счастьем, каким дорогим воспоминанием о далеком хорошем прошлом было для меня видеть его «на посту». Казалось вот, вот раздастся его могучий на весь театр бас «только за пляску», — слова, которые он неизменно выкрикивал по окончании 2-го акта Миньон, в котором Лубковская изящно танцевала с зеркальцем; поклонник Филины-Силиной он всегда старался подчеркнуть, что в вокальном отношении Лубковская равняться с нею не может, а если ей и хлопать, то только за изящество в танцах.

Национальная борьба в оперном театре отличалась, естественно, еще большим озлоблением, причем иногда принимала чрезвычайно юмористический характер. Я сам был свидетелем такой сцены, которая потом рассказывалась виде анекдота. На второстепенных ролях работал у Прянишникова (Л. 67) тенор Борисенко пел соло в хоре: «Ратаплан» в Гугенотах и т. д.; никто на него не обращал внимания, и вдруг в «Паяцах» на первом представлении этой оперы он вызвал бурю восторгов исполнением закулисной арии арлекина; с тех пор он начал выдвигаться и в Казани занимал уже амплу первого тенора; успех Борисенко в Наяцах был столь неожиданный, что, так как содержания оперы большинство из публики еще не знало, некоторые перепутали его с Медведевым, выступавшим в заглавной роли; когда на вызовы вышел Борисенко, один пришедший в экстаз еврей кричал: «без различия вероисповедания Борисенко, Борисенко!» Помню ещё как в «Самсоне» Медведев, действительно с большим подъемом проводивший эту партию, привел в такой экстаз евреев, что они вызывали его уже не по фамилии, а просто вопили: «Самсон, наш Самсон»; это вызвало, конечно, соответствующую реакцию со стороны русской партии. Даже весьма солидный, уже не молодой, уравновешенный, ни в каких партиях не принимавший участия, блондин Х., не пропускавший ни одного спектакля, в котором выступала Смирнова — у него была какая-то прямо Смирновомания, и тот был втянут в борьбу; «почему вы так нападаете на Медведева», спокойно обратился он в антракте ко мне; «он все-таки в общем недурно исполняет Самсона, конечно он бледен по сравнению с Далиллой-Смирновой, но...». Я его вывел из спокойствия, когда провокационно заявил «вы так думаете, в вот евреи другого мнения; они говорят, что Смирнова, как артистка, в подметки не годится Медведеву». Я не узнал флегматичного блондина, лицо его сделалось багровым, он, задышавшись, несколько раз полувопросительно повторил: «Смирнова ...в подметки»; для него это было просто святотатство...и через некоторое время я его видел в центре галереи, среди евреев, разносящим, почти с опасностью для жизни, Медведева; на последнем спектакле хладнокровный блондин, спокойно прошедший вес сезон, свистел, ругался и вообще был выбит уже из колеи.

И так, театр, как и летние наши похождения, помимо серьезного национально-воспитательного его значения, давал выход (Л. 68) нашему молодому «буйству», какой-то странной нашей склонности к чему-то в роде хулиганства, к протесту против тихого мирного течения жизни, к чему-то контрастирующему с унылым однообразием гимназических уроков.

Мы бывали в полном восторге, если удавалось хорошенько взбудоражить полицию или педелей.

В Купеческом Собрании, например, на концерте Н.Н. Фигнера, я не мог решить от чего я получил более сильное впечатление — от пения ли этого великого артиста ли финальной сцены в вестибюле Собрания, где произошло столкновение с приставом величайшего оригинала нашей гимназии, впоследствии нотариуса, Ивана Колоколова. У него был несомненный крупный комический талант; мимика и интонации его были таковы, что пустейшая и глупейшая фраза, какой-нибудь рассказец, приобретали

в его устах такой юмор, который заставлял смеяться даже самых серьезных людей. В дортуйар пансиона он входил иногда взволнованный, огорченный и трагически-комично вопрошал: «господа, где мой нос?» И весь зал разражался хохотом. А то на каком-нибудь вечере начнет как бы самому себе рассказывать: «знаете, был господни, в Париже — повиндвинчивает ноги, повиндвинчивает голову /это слово уже с высочайшим пафосом! /...а сам ложится спать» и тому подобный вздор; вокруг него всегда собиралась постепенно толпа слушателей. Гуляя по Крещатику, он любил сзади тихонько взять за руку какого-нибудь незнакомца, и, когда он обернется, зловеще прошептать: «тише, нас подслушивают!» или, с неопределенным жестом в пространство: «он одобряет Казерию» /убийцу Австрийской Императрицы/; от него шарахались, как от сумасшедшего. Однажды уже в Университете К. явился на практические занятия по политической экономии с громадной связкой всевозможных книг, какие только у него имелись дома; студент Горовой читал какой-то доклад; как он, так и сам профессор Пихно не без уважения посмотрели на К. и его книги, предчувствуя в нем сильного оппонента. Во время доклада К. нервно перелистывал книги, делал какие-то заметки и по временам так ехидно смотрел на референта, что последний постепенно (Л. 69) делался все бледнее и растеряннее. Кончился реферат, профессор почтительно обратился к К. с вопросом «вам, вероятно, угодно возражать», последовал громкий с достоинством ответ «да»; Горовой побледнел, как стена; К. начал с презрительной улыбкой: «господин Городовой в своем докладе ...» Пихно, видя смущение Горового, мягко остановил К. «фамилия докладчика не Городовой, а Горовой». К. снова начал свои возражения, назвав докладчика городовым. Повторилось это еще раз, К. извинился, что он сам не знает, что с ним сегодня, что у него какая-то болезненная рассеянность и т. д. Все это сопровождалось такой мимикой, что аудитория еле удерживалась от смеха; забрав все свои материалы, К. деловито исчез.

Так вот этот самый К. в вестибюле Купеческого Собрания среди расходившейся после концерта публики, неожиданно пронзительным голосом завопил: «Фи-и-и-гнер»; находившиеся вблизи К. отскочили от него с испугом, и тотчас же, проталкиваясь через толпу, появился задыхающийся толстяк-пристав Закусилов; это был главный наш преследователь, в сущности поразительной доброты человек. «Молодой человек», гаркнул он на Колоколова, «вы оглушили публику». «Молодой человек», отвечал приставу Колоколов, «а вы меня оглушили»; при этом лицо его изобразило такую гамму скорби, негодования и ужаса, что в публике начался смех. Смущенный названием «молодой человек», пристав яростно набросился на Колоколова и между ними началось длительное препирательство. «Я, молодой человек, давно за Вами слежу; Вы у меня на примете; я всю Вашу биографию знаю», угрожающе заявил Закусилов, а К. в ответ на это: «вы думаете, что я не слежу за вами, что мне ваша биография не известна, извольте: вы были выгнаны с должности станового пристава Таращанского уезда». Откуда К. взял эту подробность из служебной жизни Закусилова, неизвестно, вероятно, измыслил; но, во всяком случае привел в такое смущение при-

става, что он вместо того, чтобы его арестовать, заявил, что окончательное объяснение по поводу происшедшего он откладывает до завтра, и попросил толпившуюся публику разойтись. «Да, завтра, молодой человек, мы объяснимся с Вами у местного полицмейстера», победоносно заключил Колоколов, почему-то делая особое ударение на слове «местного», которое он произнес с большим пафосом и выговаривая через е оборотное; затем, обращаясь к публике и выражая на своем лице какое-то таинственное торжество, он как-то особо конфиденциально повторял: «молодому человеку особенно, по видимому, не нравится слово — мэстного». Смех в вестибюле стоял гомерический. На другой день все дело кончилось, как-то, извинением К. перед добряком приставом.

Почему Колоколов не пошел на сцену, предпочел ей карьеру нотариуса — непонятно.

И много одаренных гимназистов моего времени, подававших надежды, предпочли обычный проторенный житейский путь превратностям артистической карьеры.

В гимназии периодически устраивались спектакли; в последние годы это даже поощрялось начальством; давали Ревизора, Женитьбу, Лес /отрывки/ и на все ответственные роли всегда находились способные исполнители. Брат мой, например, отличился в роли «Яичницы», в Гоголевской «Женитьбе»; режиссировал Неделин, и нам, помню, было приятно, что директор гимназии И.В. Посадский-Духовской и учитель словесности П.С. Иващенко относились с почтительным вниманием к указаниям этого талантливого артиста и, затем, на память снялись с ним с гимназистами-актерами на одной фотографической группе. Ранее мир чиновников-педагогов и свободных служителей искусства отделяла стена предрассудков. Неделин, на вопросы некоторых из товарищей брата относительно сценической карьеры, говорил, что сцена дает по временам громадное нравственное удовлетворение, но в личную жизнь человека вносит так много страданий, беспокойств, волнений, что он никому не мог бы дать совет посвятить себя сцене.

Я лично никаких сценических способностей не имел; мальчиком сносно изобразил раз Плюшкина, участвовал в сочиненной моей матерью оперетке «В Арбуцких горах», где вся моя (Л. 71) [роль] состояла в пении четырех слов: «вы чудо из чудес» в ответ на рассказ цыганки о том, как она живет в горах; наконец, в доме моего товарища В. я выступал, будучи уже гимназистом старших классов, в роли первого любовника — Николая в «Поздней любви» Островского и так был поносим среди публики, не узнавшей меня после снятия грима, то это навсегда отбило у меня охоту подвизаться на подмостках. Брат же мой мечтал одно время о поступлении в театральное училище, но увлекся судебной деятельностью.